

[Polaris]

А. ШОЛЛЕ, А. ЛЕСБРО



САРГАССОВО МОРЕ

Затерянные миры
Том VIII

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

XLIV



Salamandra P.V.V.

**А. Шоллье
А. Лесбро**

САРГАССОВО МОРЕ

Затерянные миры

Том VIII

Salamandra P.V.V.

Шоллье А., Лесбро А.

Саргассово море. Пер. с франц. Е. Бренева. Под ред. А. Дермана (Затерянные миры, т. VII). – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2014. – 145 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. XLIV).

Авиатор Франсуа Витерб, затеявший смелый перелет на гидроплане через Атлантический океан, открывает в Саргассовом море остров, населенный потомками древнейшей цивилизации... Но роман А. Шоллье и А. Лесбро – нечто большее, чем фантастика: это и философская притча, и поэтичная история любви.

«Саргассово море» продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций произведений, которые относятся к жанру «затерянных миров» – старому и вечно новому жанру фантастической и приключенческой литературы.



А. ШОЛЛЬЕ
А. ЛЕ^ЙСБРО

ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ НА ГИДРОПЛАНЕ

РОМАН

ПУШКИНА

**САРГАСОВО
МОРЕ**

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

В последнее время во Франции нередки случаи сотрудничества двух и даже нескольких писателей. Авторы романа «Саргассово море» («Через Атлантику на гидроплане») — Антуан Шоллье и Анри Лесбро, в возрасте около 30 лет, еще с детства связанные дружбой, учились в одном и том же колледже и оба участвовали в европейской войне. Шоллье — убежденный модернист; Лесбро тяготеет к классикам.

Несмотря, однако, на различие литературных вкусов, они в сотрудничестве друг с другом написали несколько романов. Шоллье с 1917 года после тяжких ран прикован к креслу, всякое движение для него мучительно. Пером водит Лесбро, но определить долю участия каждого в этом совместном творчестве невозможно. Они обдумывают план романа и вместе работают над чеканкой каждой фразы.

Предлагаемый роман имеет главным местом своего действия часть Атлантического океана, на многие тысячи километров покрытую водорослями.

Это так называемое «Саргассово море». Название это происходит от одной из разновидностей водорослей «Саргасс». Саргассы — необычайно разветвленные и цепкие водоросли серо-зеленого цвета, нередко образующие обширные и непроходимые заросли. Такого рода обширное скопление, известное под названием «Саргассова моря», расположено в Атлантическом океане и тянется от Канарских островов до Зеленого мыса. Морские течения уносят растущие у берегов водоросли в неподвижные области океана, где они и сбиваются в громадные поля. Предположение авторов о существовании в центре одного из таких скоплений неизвестного острова является теоретически допустимым. Суда старательно обходят такие места. Как известно, именно скопления саргассов задержали на четырнадцать дней корабли Христофора Колумба, когда он первый раз отправлялся к берегам Америки.

Роман написан с большой любовью и подъемом; в совершенно вымышленной обстановке в нем слышатся отголоски диссонансов жизни и воззрений современного западно-европейского общества. Особенность предлагаемого произведения: смелая фантастика, вправленная в раму совершенно точных и научно-проверенных фактов.

Глава I

Нас было шестеро в студии Франсуа Витерба, недалеко от Булонского леса.

Надвигалась ночь, в широко раскрытые окна проникал аромат цветущих деревьев. Центром нашего внимания был Витерб. Его фигура стройно вырисовывалась в облаках табачного дыма. Перед ним был столик со всеми приспособлениями для коктейля. Нам доставляло удовольствие созерцать, как этот дилетант с серьезным видом, точно священнодействуя, приготавливал ледяной напиток.

Мы сосредоточенно молчали.

Вдруг раздался взрыв смеха, — молоденькая Лели Бобсон не могла больше вытерпеть такого серьезного настроения. Это была маленькая английская танцовщица. Пьер Сандо, лейтенант авиационного центра Сен-Сира, несколько дней тому назад пригласил ее лететь на аэроплане в Париж.

— Неужели у меня такой смешной вид, мадемуазель? — спросил Витерб, занятый тщательным отсчитыванием ложечек толченого льда. — Я считаю, что и маловажное дело следует исполнять в совершенстве. Приготовление коктейля тоже требует сосредоточенного внимания.

— Лели, — объявил Сандо, — вы бестолковы, вы не знаете, что Франсуа, квалифицированный химик, лауреат академии наук, в настоящую минуту воображает, что вернулся к своим заброшенным ретортам.

— Как, неужели вы еще и химик? — спросила англичанка. — Я знала только, что вы авиатор.

— О, Витерб универсальный человек, — заявил Анри Брессоль, отряхивая свою трубку. — Он музыкант, поэт, химик, выдающийся эллинист, техник, авиатор, холостяк...

— Довольно, довольно, — прервал его Витерб, — коктейли готовы... — и он, подражая манерам метрдотеля, поставил поднос на кончики пальцев и принялся ловко разносить ледяной напиток.

Я с улыбкой наблюдал, как мой друг останавливался перед каждым гостем, предлагая в остроумных выражениях только что приготовленное угощение.

Он был необычайно грациозен во всех своих движениях. Его стройное тело, закаленное постоянным спортом, отличалось крепостью и гибкостью. Тщательно выбритый, с блестящими глазами, он выглядел моложе своих тридцати семи лет; во всей его фигуре и манерах бросалось в глаза даже самому поверхностному наблюдателю какое-то особое благородство.

Забавный контраст по отношению к нему представлял наш старый друг, толстяк-карикатурист Фрика, важно восседавший в качалке. Возбужденный любимым обедом, которым нас угостил Витерб, он энергично жестикулировал своими короткими руками, доказывая Сандо, что в искусстве сегодняшние анархисты завтра окажутся классиками. Казалось, что в эту минуту он планирует за три тысячи миль от всякой реальности, может быть, потому, что Лели Бобсон, медленно потягивая коктейль, щекотала авиатора, засунув за ворот свой розовый пальчик. Пьер Сандо был товарищем Витерба по эскадрилье, и опасности, которые приходилось им сообща переживать, укрепили их давнюю дружбу.

— Вот бы этот напиток да в Южный Тунис, — заметил Брессоль, опуская свой стакан, — при 52 градусах в тени это было бы лучше солоноватой воды из бурдюков.

— 52 градуса в тени! — воскликнул Фрика, хватаясь обеими руками за голову.

Брессоль, поощренный этим возгласом, стал рассказывать о своей последней поездке к Хадамесу, преувеличивая прелесть езды на верблюдах. Он недавно вернулся из Туниса, куда ездил, чтобы на месте изучить остатки великой арабской культуры в нынешних французских колониях. Он был очарован Африкой и во всяком разговоре при случае восторженно отзывался о ней, заявляя, что отныне его настоящее отечество — Северная Африка.

Витерб подошел ко мне, протянул стакан, а себе взял последний оставшийся стакан.

— Мой дорогой друг, — сказал я ему, — пью за полнейший успех твоего предприятия.

— Спасибо, мой дорогой Лорлис, — ответил он, дружески трепля меня по плечу, и мечтательно уселся рядом со мной в кресло, рассеянно прислушиваясь к восторженным рассказам Брессоля.

Удивительный парень этот Витерб! Я познакомился с ним еще до войны в одной из таверн Латинского квартала, которую облюбовала группа передовых поэтов. Я сразу заметил его необычайную чуткость к классической культуре и чрезвычайную начитанность; дружба, почти братское отношение установились между нами; он мне рассказал всю свою жизнь. С раннего детства он рос сиротой; это был чрезвычайно одаренный человек, но сосредоточивший свое внимание исключительно на развитии своего «я». Все его интересовало; во всем он достигал успеха, но ни на чем не мог остановиться. Он увлекался поэзией; потом вообразил на некоторое время, что его пленяет химия, но внезапно, после путешествия в Афины, занялся изучением греческой литературы и культуры. Даже среди членов института он был известен как выдающийся эллинист. Война прервала его занятия. Он сделался авиатором; умственные интересы сменились страстным увлечением спортом. Очень скоро он стал прославленным летчиком. Его смелость граничила с безрассудством. Когда по окончании войны мы встретились, я спросил, какие у него сейчас планы на будущее. Оказалось, что он очарован авиацией и хочет выработать новую конструкцию аэроплана, имея целью перелет через Атлантический океан.

Сверх всех моих ожиданий, он был поглощен своей работой около двух лет. Из его рассказов я вывел заключение, что тип гидроплана, о котором уже шесть месяцев шумели все газеты и на котором он через три дня намеревался лететь до Нью-Йорка, был разработан, насколько я понимал, еще слабо. Мысли об этом не оставляли меня и сейчас, и я невольно спросил Витерба, не предполагает ли он ввести какие-нибудь изменения в маршрут своего перелета.

— Да, — заявил он, вставая, — я покажу вам сейчас, вероятно, уже окончательный маршрут моего путешествия.

Сняв со стола поднос, он развернул громадную карту Атлантического океана.

Все приблизились к столу, даже Лели Бобсон, проскользнувшая между громадным животом Фрика и плечом Сандо; мы внимательно следили за пальцем Витерба, который спокойно передвигался по синему листу, испещренному линиями, обозначающими глубину океана.

— Первая моя остановка на Азорских островах. Этот перелет я рассчитываю сделать в семь часов, если не будет встречных ветров, но я надеюсь воспользоваться весенними.

— Семь часов? Это слишком мало, — объявил Сандо, — ведь там около двух тысяч километров.

— Тысяча восемьсот, — поправил Витерб.

— А где ты спустишься? — спросил Брессоль.

— В Ангре, на острове Терсебре.

— Ну, городок-то, верно, не велик? Вас там будут ожидать?

— Французский аэроклуб принял все на себя и распорядился, чтобы на каждой остановке для меня было приготовлено все необходимое.

— На каждой остановке? — переспросил Сандо. — Я полагал, что с Азорских островов ты рассчитываешь лететь прямо на Нью-Йорк.

— Может быть, я и мог бы это сделать, — ответил Франсуа, нервно кусая губы, — но, на основании моих последних опытов, я счел благоразумным несколько видоизменить первоначальный проект; ты знаешь, что на «Икаре» я достиг скорости в 350 километров, а с попутным ветром и того больше. Но в основу моих расчетов я могу класть только средние цифры. От Азорских островов до Нью-Йорка около пяти тысяч километров, следовательно, если все будет благополучно, то на перелет потребуется минимум двадцать часов. Прежде всего большим затруднением для меня явится ночь; правда, следует принять во внимание, что я выгадаю пять дневных часов, так как, отправившись

из Ангры в четыре часа утра, я достигну Нью-Йорка, после двадцати часов полета над океаном, раньше восьми часов вечера по местному времени, тогда как мои часы будут показывать уже полночь.

— Ничего не понимаю, — заявила Лели Бобсон.

— Это не важно, — оборвал ее Сандо, — Итак, Франсуа, ты говоришь, что выигрываешь пять часов, но мне кажется, что лететь двадцать часов подряд почти невозможно, даже в том случае, если не случится никаких осложнений.

— Это верно, и вот почему последний перелет я решил раздробить.

— Раздробить? — переспросил удивленный Фрика, — но на карте я ничего не вижу между Нью-Йорком и Азорскими островами.

— Видишь ли, немного к югу на высоте Флориды находится Бермудский архипелаг; расстояние от Азорских до Бермудских островов я могу покрыть приблизительно в шестнадцать часов, самое большое тут четыре тысячи километров. Что до последнего перелета от Бермудских островов до Нью-Йорка, то это уже совсем пустяки: двести километров. В общем весь путь несколько удлинится, зато самый большой перелет не превышает тысячи ста лье.

— Это более чем достаточно, — сказал я, — да и то лучше было бы, если бы тебя конвоировали.

— К чему? Все равно я вскоре опередил бы самый быстрый контр-миноносец!

— Совершенно верно, — согласился Сандо, — но я повторяю, что не раз уже говорил тебе: напрасно ты решил лететь один.

Витерб нервно топнул ногой.

— Все это я и сам понимаю, но возможно больше бензина необходимо взять, иначе я не могу лететь со средней скоростью в триста километров более пятнадцати часов.

— Разумеется, — сказал Брессоль, — ты тщательно взвесил все доводы за и против; тебе лучше знать, как поступить; было бы глупо с нашей стороны накануне отлета напоминать тебе об осторожности; нам лишь остается выра-

зить тебе пожелание успеха; это я и делаю от имени всех нас.

Витерб с волнением пожал протянутые к нему руки.

— А это что такое? — спросила Лели Бобсон, склонившись над картой и указывая кончиком ногтя на какую-то точку в океане.

— Там написано, — ответил Фрика, — прочтите, мадемуазель.

— Саргассово море, — прочла Лели, — что же это за море?

— Вы, значит, никогда не слышали об Атлантическом океане? — спросил Витерб.

— Но, мой дорогой, с какой стати ей про это слышать, — сказал смеясь Сандо. — Будь уверен, что Лели молоденькая девочка, очень хорошо воспитанная и не интересующаяся такими неприличными вещами.

— Неужели это так неприлично? — спросила Лели среди взрыва общего хохота.

— Нет, мадемуазель, — ответил Витерб. — Неприличен только ваш друг Сандо. Редко кто сразу может припомнить местонахождение Саргассова моря; это скопление водорослей, называемых «саргассами», расположенное к северо-востоку от Антильских островов; оно расстилается на протяжении нескольких тысяч километров.

— На протяжении нескольких тысяч километров! — вскричал Фрика. — Вы шутите, мой дорогой! Да откуда взялись они, эти саргассы?

— Это морские травы, увлеченные морскими течениями, например, Гольфштремом; они собираются в тех местах океана, где течение отсутствует. О существовании этого скопления первый узнал Христофор Колумб во время своего плавания в Америку; с тех пор корабли старательно его обходят. Предполагают, что в саргассах погибли некоторые пропавшие без вести суда.

— Это любопытно, но не весело, — сказала Лели Бобсон, — и вы хотите пролететь над ними?

— Не беспокойтесь, мадемуазель, моему «Икару» нечего делать в саргассах!

Изумление молоденькой танцовщицы, выраженное в такой наивной форме, заставило всех нас улыбнуться. Разговор продолжался в веселом тоне, Франсуа был в приподнятом настроении и еще раз поразил Лели, рассказав в своей своеобразной манере про падение древнего Икара, который слишком высоко взлетел к солнцу и растопил в его лучах державшие его крылья.

Фрика поделился пришедшей ему в голову идеей — изобразить на фреске в торжественном зале аэроклуба прибытие «Икара» в Нью-Йорк.

Сандо, к большому огорчению Лели Бобсон, выражал сожаление, что не может сопутствовать своему другу в его трансатлантическом перелете.

Только Брессоль и я не могли отделаться от тоскливого ощущения при мысли, что Франсуа, к которому мы давно уже относились, как к брату, пускался в такое опасное предприятие.

Часы на камине пробили два; пора было расходиться. Фрика распрощался с Франсуа, который после полудня должен был улететь в Лиссабон на аэроплане.

Что до Сандо, Брессоля и меня, то мы на следующее утро отправлялись в Португалию по железной дороге, чтобы проводить Витерба перед его отлетом на Азорские острова.

Глава II

За Альгарвскими горами солнце всходило на безоблачном небе; конусы теней, отбрасываемых их вершинами на море, постепенно укорачивались по мере того, как поднималось солнце. Мы ехали в автомобиле по дороге от маленького городка Сарг к южной оконечности мыса св. Винцента; автомобиль шел тихим ходом, так как дорога была полна пешеходами, направляющимися к утесу, откуда должен был начать полет Витерб. Ритмический стук мотора убаюкивал нас, углубленных в себя. Наши мысли и чувства были так сходны, что не было потребности обмениваться словами, достаточно было взглядов, чтобы понять друг друга.

После официального банкета в Лиссабоне мы накануне вечером пообедали с Витербом в Сарге с тесной дружеской кампании с Сандо и Брессодем. Франсуа был спокоен, серьезен и уверен.

Все было готово: «Икар» тщательно просмотрен; погода стояла идеальная; все, по-видимому, благоприятствовало успеху предприятия, и все-таки какая-то тоска сжимала нам сердце, когда мы взирали на беспредельную синеву свергающего при первых утренних лучах моря, над которым наш друг собирался совершить свой рискованный перелет...

Витербу пришлось на время оставить нас; ему хотелось еще раз взглянуть на аппарат.

Дорога, постепенно поднимаясь, шла по краю скалистой горы до утеса, возвышавшегося на пятьдесят метров над морем; гребень горы завершался небольшой, поросшей травой площадкой, на которой вырисовывалась серая масса ангара, построенного для гидроплана.

Когда мы подъехали, «Икар» был уже вывезен на изумрудный луг, словно огромная белая птица, распростершая крылья; блюстители порядка с суровым видом сдерживали на приличном расстоянии толпу любопытных; мы долж-

ны были предъявить специальные разрешения, чтобы нас пропустили.

Витерб, одетый в кожаный костюм, с каской на голове, был уже совершенно готов к отлету; отделившись от группы окружавших его официальных лиц, чтобы пожать нам руки, он весь сиял и, здороваясь, закричал:

— Ну, настал, наконец, желанный момент! — и, указав на солнце, высоко уже стоявшее в небе, он увлек нас к аппарату, где Сандо в рабочей куртке, весь забрызганный маслом, работал с механиком Витерба.

— Наш милейший Сандо, — пошутил Франсуа, — до самой последней минуты старается привести все в порядок.

— Замолчи, неблагодарный, — огрызнулся Сандо, со смехом протягивая нам грязный палец. — Я только что укрепил все пазы в трубопроводной системе; во время перелета они могли сыграть с тобой скверную штуку.

— Не обижайся, старина, — сказал Витерб, дружески похлопывая его по спине, — ты знаешь, что, если послезавтра я буду в Нью-Йорке, то в призе, обещанном аэроклубом, будет и твоя доля.

— Идиот! — закричал сердитым голосом Сандо.

— Итак, завтра утром мы можем получить от тебя известие с Азорских островов? — спросил Брессоль.

— Несомненно! Я должен сообщить по кабелю в аэроклуб о своем прибытии в Ангру.

Франсуа взглянул на часы.

— Половина восьмого. Все готово, Жозефин?

— Да, мосье.

— Итак, мои дорогие друзья, я хочу с вами проститься до официальной церемонии. Не беспокойтесь обо мне; я уверен, что все будет как нельзя лучше.

Мы все обнялись с ним, и Франсуа взошел на гидроплан.

Все обступили аппарат; делегат парижского аэроклуба протянул Витербу бокал шампанского и провозгласил несколько тостов, его примеру последовал и президент лиссабонского аэроклуба.

Настал торжественный момент; Витерб раскланялся, все отошли, чтобы не мешать маневрам, и после короткой команды механик пустил в ход пропеллер. Порыв ветра пригнул траву; гидроплан задрожал, и вот «Икар» величественно поднялся в воздух при восторженных кликах толпы.

Так же, как древние конквистадоры отправлялись на своих белых караванах на завоевание золота, так и теперь новый завоеватель двадцатого века полетел в поисках славы на новом, более быстром корабле, сыне Знания и Прогресса.

Сначала «Икар» описал плавную дугу, чтобы набрать высоту, и затем ринулся в открытое море. Его белые крылья блестели под ласковыми лучами солнца, и мы не могли оторваться от хрупкого аппарата, который удалялся, как бы стремясь к горизонту.

Вскоре замерло и гудение мотора; затем гидроплан превратился в едва заметную точку, которая, казалось, растаяла в небесной лазури; но мы жадно искали ее уже после того, как она исчезла.

Толпа некоторое время оставалась в напряженном молчании, которое затем вдруг сменилось пестрым оглушительным шумом... Мы вместе сели в автомобиль и понеслись к лиссабонскому поезду, в девять часов проходившему через Сагр.

Глава III

Брессоль ходил взад и вперед по маленькой зале, соединяющей две комнаты, занятые нами в лиссабонском отеле «Камознс», часто и коротко затягиваясь из своей трубки, которую, вопреки всем правилам утонченного курильщика, поминутно зажигал. Я сидел молча в кресле и нервно покусывал потухшую сигару; мы исчерпали все темы, относящиеся к единственно интересовавшему нас предмету. Мы волновались, и наше беспокойство было не без причины. Прошло больше четырех суток после отлета Витерба, а известий от него не было, если не считать телеграммы с Азорских островов, полученной лиссабонским аэроклубом на второй день после отлета. Из нее мы узнали, что первая часть путешествия прошла без всяких осложнений и что на следующий день авиатор в четыре часа утра покинул Ангру. Больше о нем ничего не было известно.

— Вот что, — сказал Брессоль, внезапно остановившись. — Давайте подведем итог нашим сведениям. Он прибыл в Ангру во вторник в четырнадцать часов и отправился дальше в среду, в четыре часа утра; предполагая даже максимальное опоздание, в четверг мы должны были получить сообщение о его прибытии на Бермудские острова; между тем сегодня до одиннадцати часов в аэроклубе еще ничего не было получено.

— Клуб телеграфировал сегодня на Бермудские острова?

— Да, и там рассчитывают получить по радио сегодня вечером.

— С ним, несомненно, что-то случилось и он не прибыл на Бермудские острова в течение вчерашнего дня, иначе было бы нам сообщено, притом «Икар» мог захватить запас бензина, достаточный только для двадцати двух или двадцати трех часов полета...

Брессоль промолчал и снова зашагал по комнате.

Я не решался продолжать разговор: я боялся, что мне придется высказать то, о чем оба мы думали, но точно по какому-то суеверию избегали говорить.

Пробило пять часов, я поднялся.

— Куда ты, Лорлис? — спросил Брессоль.

— Я не могу больше терпеть; пойду в аэроклуб. Идем со мной. Когда беспокоишься, бездействие совершенно невыносимо.

— Да, правда. Идем.

Погода стояла великолепная; в этот час дня город был чрезвычайно оживлен. От площади дон-Педро, где был расположен наш отель, мы прошли на Торговую площадь, куда выходила улица, на которой помещался аэроклуб.

В огромном вестибюле мы встретили офицера-авиатора, которого видели в Сагре в день отлета Витерба. Он подошел к нам и осведомился, нет ли у нас известий.

— Нет, — ответил ему я, — наоборот, мы для того и пришли, чтобы узнать, нет ли здесь каких-либо известий.

Он предложил проводить нас в секретариат. Когда мы вошли в бюро, грум, уже приносивший нам депешу в отель «Камознс», узнал нас и протянул нам пакет. Лихорадочно я его распечатал и, приблизившись к окну, прочитал телеграмму, которую нам перевели таким образом:

«Гамильто, Бермудский архипелаг, четверг вечером. Никаких известий о французском авиаторе; отправлен на разведку миноносец».

Мы переглянулись, не произнося ни слова; несмотря на все наши предчувствия, в глубине сердца до этого момента у нас таилась еще надежда на благоприятное известие.

Печально вернулись мы в отель; Франсуа, несомненно, погиб; оставалась только надежда на мало вероятную случайность: его мог встретить и спасти какой-нибудь корабль.

Дальше нас ничто не удерживало в Лиссабоне, и мы поспешили вернуться в Париж, откуда скорее могли организовать поиски между Азорскими и Бермудскими островами.

Брессоль пошел проститься с президентом португальского клуба, а я торопливо укладывал наши чемоданы; в тот же вечер мы сели в скорый поезд.

.....

Только через шесть дней после исчезновения Франсуа Витерба удалось добиться, чтобы французские власти начали розыски с помощью двух миноносцев, имевших базу на Антильских островах. Сандо при помощи своих связей удалось воздействовать на морского министра, чтобы добиться посылки двух судов на поиски нашего друга.

Впрочем, исчезновение Витерба вызвало много шума в прессе, и французское общество было сильно взволновано неудачей, постигшей его смелое предприятие. Тонкое и энергичное лицо Витерба было воспроизведено на страницах всех больших газет. Последнее известие о нем было получено от грузового судна, шедшего из Гаваны; оно заметило авиатора около 35 градусов северной широты и 42 градусов западной долготы. Что стало с ним после того — осталось неизвестным. Не было получено никакого сообщения по беспроволочному телеграфу, никакой корабль не нашел никаких следов гидроплана. Оставалось предположить, что Витерб потерпел аварию во время пути, и «Икар» погиб в волнах Атлантического океана.

Как бы то ни было, надеяться было не на что. Франсуа Витерб был мертв, и его имя было вписано в длинный мартиролог пионеров Науки и Прогресса.

Глава IV

Шел дождь. Я сидел в кресле, положив ноги на каминную решетку, и глядел в окно на небо с низко нависшими тучами; под влиянием пасмурной погоды я был настроен меланхолично и с грустью вспоминал о том, как незадолго до своего отлета, мы с Витербом мечтали о прелести дачной жизни. Лето протекло очень тоскливо; мне казалось, что солнце, сияющее над ледниками Агры, еще более разожгло мою скорбь. Мы с Брессолем отказались от прежнего проекта провести лето на побережье океана (это слишком пробуждало бы в нас тягостное воспоминание) и уединились в захолустном уголке Дофины. Прошло только четыре месяца после гибели Витерба, и скорбь наша о нем еще не успела притупиться. Недели две тому назад мы вернулись в Париж, и в тиши моего кабинета, за работой, каждое мгновение мысленно я видел того, с кем провел столько часов в интимном общении. Я еще не мог привыкнуть к мысли, что мой друг в полном расцвете своих сил погиб.

Звонок прервал нить моих мыслей и спустя минуту в мой кабинет ворвался Брессоль.

— Вот, прочти! — воскликнул он, протягивая вечернюю газету.

И он указал мне пальцем на заметку, первые слова которой, как громом, поразили меня:

НАЙДЕН ЛИ АВИАТОР ВИТЕРБ?

Телеграмма агентства Гавас, отправленная из Нью-Йорка, сообщает: миноносец «В-14» десять дней тому назад начал разыскивать в Атлантическом океане «Минотавр» — яхту господина Айреса; наши читатели не забыли, что эта яхта совершенно непостижимым образом исчезла недели три тому назад, направляясь во Фран-

цию, где она должна была забрать г-на Альварца и его семью и доставить их в Аргентину. «В-14» вернулся на место своей стоянки, не найдя никаких следов «Минотавра», но при этом на 58 градусе западной долготы и 27 градусе северной широты он наткнулся на неуправляемый никем гидроплан, на котором оказался потерявший сознание пассажир. Аппарат в точности походил на знаменитый «Икар», который, как известно, погиб около четырех месяцев тому назад при попытке перелета через Атлантический океан. Был ли найденный пассажир авиатором Витербом? Его не могли расспросить, так как он находится в состоянии крайней слабости; прибывший на свою стоянку «В-14» через пять дней придет в Гавр.

Остается непостижимым, каким образом авиатор Витерб, если это действительно он, мог остаться живым в течение четырех месяцев среди волн Атлантического океана.

Пробежав заметку, я взглянул на Брессоля.

— Ну, что вы об этом думаете? — спросил он.

— Это так странно, что я не решаюсь ни в какой мере ни на миг надеяться, прежде чем мы не получим более подробных сведений, а притом, может быть, это обыкновенная газетная утка.

— Совершенно верно, но я заходил в «Бюро прессы», где мне показали телеграмму агентства Гаваса. Все дело в том, чтобы узнать, кто найденный человек, Витерб или другой, и что это за гидроплан.

— А ведь за последнее время не было отмечено гибели никакого другого гидроплана. Хотя остается необъяснимым, что же делал эти четыре месяца Франсуа.

— Он не мог оставаться четыре месяца на своем аппарате среди Атлантического океана. Заметь также, что его нашли приблизительно на широте тропиков, то есть более чем за тысячу километров к югу от намеченного им пути.

— Если бы ему удалось где-нибудь снизиться, он немедленно сообщил бы об этом.

Мы продолжали лихорадочно обсуждать положение вопроса, но все наши ухищрения были бессильны сделать невозможное возможным: не могло быть и речи о спасении Витерба.

На следующий день все газеты сообщали, что Витерб найден; однако, дальнейшие комментарии выясняли, что это предположение невозможно.

Поразительный эффект произвела на следующий день вечером радиотелеграмма в «Энтрансижан», утверждавшая, что найденный авиатор оказался Витербом; при нем нашли рекомендательные письма к губернатору Бермудских островов, и, более того, по просьбе капитана он пробормотал свое имя!

Это граничило с чудом. Чудо или нет, но самое главное было то, что Витерб жив; в волнении мы с Брессоном вычисляли, когда мы сможем увидеть нашего друга.

Весело принялись мы упаковывать наши чемоданы и отправились в Гавр накануне прибытия «В-14». Нам удалось получить в морском министерстве точное указание о дне прибытия миноносца, сведения об этом удалось добыть кроме нас только некоторым журналистам. Благодаря специальному разрешению мы могли тотчас же по прибытии судна причалить к нему на маленькой гичке.

Командир принял нас очень вежливо и сейчас же приказал провести в каюту, где находился Витерб.

Наши последние сомнения рассеялись, как только мы взойшли на палубу: позади судна мы увидели силуэт «Икара».

В дверях каюты младшего офицера, куда поместили Витерба, нас остановил санитар судна. Мы сообщили ему, кто мы такие, и узнали от него, что Витерб два дня тому назад пришел в сознание, но все-таки крайне слаб. Попросив нас подождать, пока он приготовит больного к нашему посещению, которое могло его слишком сильно взволновать, санитар зашел в каюту и затем спустя несколько минут позвал нас.

Франсуа лежал на кушетке, весь обложенный подушками, повернув в нашу сторону лицо, необычайно изможденное и бледное, окаймленное всклокоченной бородой. Взгляд его выражал какую-то тоску, сразу нас поразившую.

Взволнованные и подавленные, мы в первую минуту не могли произнести ни слова; с усилием он протянул к нам свои руки — белее полотна простыни, — но тотчас же они упали, как плети, на постель. Губы его медленно зашевелились, и он произнес едва слышно:

— Друзья мои!

Казалось, это усилие истощило его: на лбу его появились крупные капли пота.

— Не надо говорить, Франсуа, — сказал я, прикоснувшись к его руке, — мы счастливы видеть тебя и этого пока достаточно; через несколько дней ты окрепнешь, и мы сделаем все возможное, чтобы перевести тебя на берег в хорошую санаторию.

Движением головы он поблагодарил нас.

Санитар, внимательно наблюдавший нашу встречу, шепнул, что свидание пора прекратить, и мы тотчас ушли. Командир сообщил нам некоторые мелкие подробности относительно того, как был найден гидроплан, но в сущности ничего не прибавил к газетным статьям.

Два дня спустя Витерба перевели в одну из лучших клиник города; переезд крайне его утомил, но, благодаря чрезвычайно внимательному уходу, он понемногу началправляться. Доктор надеялся, что он выздоровеет, но запретил нам продолжать наши визиты, а в особенности разговаривать с ним. Мы все еще терялись в догадках относительно его исчезновения, как вдруг через пять дней после его перевода в клинику к нам в отель позвонили, что Витерб очень слаб и просит навестить его. Это было в десять часов вечера. Мы немедленно туда отправились; ожидавший нас врач заявил, что состояние здоровья нашего друга очень плохо, что сердце неожиданно ослабело; было два обморока, пришлось дать большую дозу кофеина, сейчас он чрезвычайно возбужден.

— Он выразил желание поговорить с вами наедине, — сказал нам врач, — я полагаю, что состояние его безнадежно; следовательно, нет причины мешать ему исполнить последнюю волю.

В полнейшем унынии мы вошли в белую комнату, выходившую окнами на море.

Витерб полулежал. Лицо его казалось не слишком бледно, он был оживлен, и если бы в наших ушах еще не звучали неумолимые слова врача, нам и в голову не пришло бы, что конец так близок.

Франсуа очень нам обрадовался:

— Ну, наконец-то, — воскликнул он, — я боялся, что вы придете слишком поздно.

Мы не пытались возражать, но он прибавил:

— Полно, дорогие друзья, я знаю, что ухожу от вас; впрочем, это не так важно, если только у меня хватит времени и сил передать вам все, что я хочу вам сообщить.

По его знаку санитар, приставленный к его палате, оставил нас одних.

— Ну, старина, — обратился к нему Брессоль, — не думаешь ли ты, что разговор утомит тебя?

— Заклинаю тебя, не прерывай меня, — умоляюще проговорил Витерб, — мне необходимо многое сказать, а я боюсь, что смерть прервет мой рассказ. Садись поближе сюда, Брессоль, и если ты, старина, хочешь доставить мне удовольствие, возьми карандаш и записывай. Я боюсь, что, когда я умру, вы станете невольно убеждать себя, что вам только пригрезилось то, что я собираюсь вам сообщить.

Брессоль уселся в ногах постели; с потолка падал мягкий свет электрической лампы, затененной зеленым газом; издали доносился монотонный рокот моря. Я придвинул кресло к изголовью Франсуа, и, совершенно растерянные, мы приготовились слушать...

Глава V

— Поверьте, мои друзья, что я не сошел с ума, — начал Витерб, — я в полном сознании и, клянусь, все, что я сообщу вам, правда, какой бы сказкой она вам ни показалась. Если я рассказываю эту историю, то прежде всего потому, что ничего не должен скрывать от таких друзей, как вы; кроме того, открытие, которое я вам сообщу, должно стать достоянием всего мира.

Более того: во время моих приключений мне пришлось иметь дело с фактами, которые смутили меня, и я прошу вас разобраться в них. После моей смерти вы можете опубликовать когда и как вам угодно эту исповедь, хранителями которой я оставляю вас обоих...

До Азорских островов в моем путешествии не было ничего необычайного. «Икар» шел великолепно, дул попутный ветер; это позволило пройти первый этап скорее, чем я ожидал.

Ангру я покинул в такое же чудесное утро, какое было, когда я расстался с вами. Накануне я имел неосторожность согласиться на банкет, устроенный в мою честь губернатором; я чувствовал себя не вполне здоровым. Впрочем, морской воздух быстро рассеял мое недомогание; через несколько часов я принял подкрепляющее и закусил; после этого я почувствовал себя совсем в норме. Гидроплан шел отлично, но, чтобы держаться намеченного направления, приходилось бороться с довольно сильным ветром, который сбивал меня к югу и, следовательно, замедлял движение аппарата. Я летел на небольшой высоте, чтобы выйти из этого воздушного течения; мне казалось, что оно слабее в нижних слоях атмосферы. Море было совершенно пустынно. Около полудня я заметил грузовое судно, с которого и меня, несомненно, заметили: так как я летел невысоко, то ясно видел матросов, сигнализировавших мне. Это были последние люди, которые могли что-нибудь сооб-

щитъ обо мнѣ. Начиная съ того момента ветер стал быстро крепчать. В час пополудни я немного закусил. Вдруг мой мотор стал сдавать, начали учащаться осечки, и я понял, что плохо поступает бензин. Я был один среди океана; предоставленный самому себе, за две тысячи километров от земли, и я почувствовал, как у меня защемило на сердце; такого ощущения я никогда не испытывал даже во время войны, я вспомнил тогда слова Сандо на мысе св. Винчен-та, когда он сжимал пазы трубопроводной системы; вскоре, однако, бензин начал поступать правильно, мотор стал работать исправно.

Я летел уже девять часов. Я не мог скрыть от себя, что руки мои устали и оцепенели, между тем предстояло лететь еще шесть часов.

Чтобы подкрепиться, я наклонился, достал бутылку со смесью спирта и черного кофе; как раз в этот момент проблема стала очень неровной, мотор ослабел и, несмотря на все мои усилия, остановился; очевидно, бензин перестал поступать в мотор. Я вынужден был планировать, чтобы осторожно снизиться на море, в надежде исправить механизм и продолжать прерванный полет. Я уже благополучно снизился до высоты ста метров над уровнем воды, как вдруг заметил, что лечу не над океаном, но словно над огромной прерией, которая, казалось, тянулась беспредельно; я решил, что это оптическая иллюзия, но после жестокого толчка я убедился, что мое первое впечатление было правильно: поплавки «Икара» коснулись почвы.

После двух-трех прыжков гидроплан чуть не опрокинулся и, не знаю каким образом, неожиданно остановился неподвижно, опираясь на свои поплавки.

Я был изумлен; горизонт был открыт; кругом меня растилась бесконечная равнина, покрытая бурой растительностью, не видно было никаких неровностей.

Куда я попал? Что это за странная саванна; ничего подобного не существовало на пути к Бермудским островам. Каким образом ветер незаметно для меня отнес аппарат столь далеко в сторону?

Я приготовился выпрыгнуть из аппарата, но, наклонившись, увидел, что местность была чрезвычайно болотистая и что вода почти затопила поплавки гидроплана.

Я медленно сползал с гидроплана, но едва мои ноги коснулись почвы, как у меня появилось странное ощущение, что подо мной нет земли и что я увязаю; вода была уже выше колен; я уцепился за стойки и с большим усилием кое-как выбрался из трясины. Стоя на поплавках, я наклонился, чтобы исследовать почву, но почвы и вовсе не было: то, что я принял за прерию, оказалось огромным скоплением морских водорослей! Меня охватила дрожь; теперь я понял, куда я попал. В отчаянии я громко крикнул:

САРГАССОВО МОРЕ!

После нескольких секунд столбняка я взгроздился на свое сиденье и начал размышлять.

Было очевидно, что мой «Икар» отнесло в сторону северным ветром, и он застрял в водорослях в глухом месте Атлантического океана.

Для меня, путешественника воздушной стихии, водоросли были не страшны. Нужно было только привести в порядок мотор.

Более того, они оказывали мне некоторую помощь, делая устойчивым аппарат на то время, пока я регулирую мотор. В открытом море качка мешала бы работе.

Часы показывали уже половину третьего, — нельзя было терять ни минуты, чтобы добраться в Гамильтон до наступления темноты; отклонение к югу значительно удлинило мой путь; необходимо было сейчас же выяснить, насколько серьезна авария. Принявшись за работу, я скоро определил, что произошла закупорка в системе труб, так как бензин совершенно не поступал в карбюратор.

В три часа двадцать минут все было исправлено. Я измерил запас бензина, — его оставалось только на двенадцать часов полета. До Бермудских островов в самом благо-

приятном случае еще предстояло две тысячи километров; даже принимая выигрыш, вследствие вращения земли, дневных часов, я все же не мог попасть туда засветло. Сверх того, я чувствовал значительную усталость. Сообразив все это, я решил провести ночь на месте и не трогаться до зари. У меня еще оставалась кой-какая провизия. Я соорудил себе скромную закуску, выпил немного кофе со спиртом. Половину бутылки я оставил про запас на дальнейший путь. После завтрака я пришел в довольно благодушное настроение и приготовился соснуть.

Конечно, на Бермудских островах должны были беспокоиться обо мне, но у меня не было возможности сообщить, в какую передрагу я попал; самое лучшее было философски отнестись к моему приключению.

Прежде чем сомкнуть глаза, я еще раз осмотрелся вокруг; солнце спускалось к горизонту несколько влево от меня; я думал о необычности моего положения. Один среди этой странной морской флоры! Я был почти доволен, что мне пришлось познакомиться с этим знаменитым Саргассовым морем, на которое натолкнулся в своем первом путешествии Христофор Колумб. Саргассово море!..

Я закрыл глаза, и предо мной встала картина, как Лели Бобсон, склонившись над картой в моем кабинете, с трудом произносит название, которое ей впервые пришлось прочитать; на этом я и задремал, чувствуя улыбку на своем лице.

Когда я проснулся, солнце стояло уже высоко; мне понадобилось несколько секунд, чтобы припомнить события минувшего дня. После пережитого утомления я проспал всю ночь, как убитый, и проснулся со свежей головой, только в пояснице чувствовалась боль, так как спать пришлось самым неудобным образом,

Я приподнялся и с проклятием расправил свои члены. Чтобы подбодриться, я выпил немного кофе; очень не прочь я был что-нибудь съесть, но все мои запасы исчерпались еще накануне вечером.

Часы показывали пять часов утра; пора было отправляться; минуту спустя зашумел мой пропеллер. Но, к мое-

му большому удивлению, аппарат не трогался с места. Я пустил мотор полным ходом, но должен был сейчас же его выключить, так как гидроплан, оставаясь на месте, чуть не опрокинулся.. Что же случилось? Наклонившись вниз, я увидел, что поплавки совершенно запутались в водорослях, мешавших аэроплану двигаться. На висках у меня выступил холодный пот. Я оказался пленником водорослей, улететь было невозможно. Мне предстояло увязнуть в этой беспредельности, где никто не мог прийти мне на помощь. Руки мои дрожали. С минуту я был совершенно подавлен. Но усилием воли я заставил себя успокоиться и снова пустил мотор, надеясь, что его триста лошадиных сил вырвут гидроплан из тенет водорослей.

Напрасно «Икар» старался освободиться; он дрожал всеми своими нервами, а его скелет трещал, но я снова принужден был выключить мотор, так как задняя часть аппарата приподнялась и он неизбежно должен был опрокинуться при дальнейшей работе мотора.

Оставалось одно: попытаться освободить поплавки от водорослей. Уцепившись одной рукой за стойки, я с энергией отчаянья принялся отрывать водоросли, нагромоздившиеся за ночь вокруг гидроплана.

Наполовину погрузившись в воду над пучиной океана, я пачками отрывал траву и отбрасывал ее прочь. Прошел час, и я был совершенно измучен, но должен был убедиться, что моя работа бесплодна; я удалял водоросли с одной стороны, а в это время саргассы опутывали поплавки с другой, присасываясь к ним тысячами усиков, чтобы удерживать свою добычу.

Что мог поделать я со своими ограниченными силами человека перед этой непреклонной стихией, которая противополагала инертность тысячи километров нагромоздившихся веками водорослей мощи человеческого знания, олицетворенной в «Икаре» с его тремьями сил?

Совершенно растерянный, я взобрался на гидроплан и тяжело опустился на сиденье. Кровь стучала в ушах, голова кружилась; не знаю, сколько времени оставался я в полной прострации с хаосом мыслей в голове. Мало-помалу

меня охватил леденящий ужас: я погибал. Никаких надежд на помощь; никакое судно, никакое живое существо не может проникнуть сюда. «Икар» навсегда утратил подвижность. Мне было суждено погибнуть от жажды и голода в этой ужасной пустыне! И никто никогда даже не узнает, что случилось со мной. До той поры я не знал, что такое страх, а теперь его омерзительный призрак схватил меня за горло; мои зубы стучали, сердце колотилось в груди так, точно хотело вырваться оттуда; крупные капли холодного пота струились по моему лицу, волосы прилипали к вискам; казалось, какая-то неумолимая жестокая рука выворачивает мои внутренности.

Я начал вопить, как безумный, и всматривался вокруг себя, как будто кто-нибудь мог ответить на мой призыв; неподвижная, беспредельная зеленая гладь расстилалась предо мною; ни единой неровности до самого горизонта, где восходило величественное, безмятежное, спокойное солнце.

Дикий гнев охватил меня перед лицом этого инертного спокойствия.

Я больше не дрожал. Я поносил бесчувственные стихии, я проклинал солнце, я осыпал богохульствами божество, я издевался над самим собой за глупость, за бессмысленную и безумную авантюру, в которую ввязался. Я ругал и вас, дорогие друзья, за то, что вы не помешали моему путешествию. Внезапно я разъярился на самый «Икар», который был так дорог мне; в неопишемом гневе я хотел его уничтожить; я принялся неистово колотить о него кулаками. Руки мои болели, я задыхался; правая рука была вся в крови... Внезапно мой гнев упал, мне стало стыдно. Я пришел в состояние полной протрации и не мог сдержать рыданий.

Сколько часов провел я в забытьи? Не знаю. Возбужденное состояние сменилось спокойствием; ко мне вернулся мой обычный фатализм. Мне захотелось пить; я осушил до последней капли бутылку и отбросил ее далеко от себя. Затем, вытянувшись на сиденье, я приготовился спокойно встретить ледяное объятие моей последней любовницы.

Глава VI

Прошел день, миновала ночь, еще один день. Первое время я должен был делать значительное усилие воли, чтобы оставаться неподвижным на моем месте. Я внушил себе мысль, что всякое усилие бесполезно и только бесцельно увеличит мои страдания; я достиг того, что заглушил в себе всякое желание что бы то ни было предпринимать, и мало-помалу меня охватило тяжелое оцепенение. К концу второго дня я сидел все на том же месте; но меня начала пронимать ночная свежесть. Что-то меня жгло внутри, и это заставило меня пошевелиться в надежде найти облегчение с переменой положения.

И тут словно спали с меня чары. Я сразу почувствовал тяжесть в членах, головокружение, во рту у меня пересохло, началась нестерпимая изжога. Я поднял руки, чтобы расстегнуть кожаную куртку, но мне сделалось дурно, и я со стоном упал на сиденье. Несмотря, однако, на физическую прострацию, в голове у меня прояснилось. В моем мозгу теснились тысячи мыслей. Напрасно я думал, что могу бесстрастно встретить приход смерти, что я приму ее чуть ли не с улыбкой; мой стоицизм рассыпался при первом же соприкосновении с страданием. Я понял, как жалки наши философские доводы перед требованиями человеческого тела. Меня продолжало жечь внутри, — это была жажда, та жажда, из-за которой человек становится зверем. Пить! Пить! Все отдал бы я за несколько капель воды. Как безумный, открывал я рот, пытаюсь уловить ночную влагу моими запекшимися губами и воспаленным языком.

Я вспомнил о муках путешественника Борка, погибшего в пустынях Австралии; некогда я прочитал рассказ одного из его товарищей о его медленной агонии; теперь я начинал, в свою очередь, переживать такие же страшные минуты и с ужасом задавал самому себе вопрос: сколько часов, сколько дней придется мне ждать благодетельной смерти.

Уже давно я считал свой разум свободным от всякой религиозной доктрины и все-таки я поднял глаза к небу, на котором кое-где начали мерцать звезды, и послал немую мольбу неизвестному богу, настолько я был разбит и подавлен.

Почудилось мне?.. Или правда?.. Мне показалось, что «Икар» вышел из неподвижности, какая-то сила влечет его куда-то.

Нет, это не была галлюцинация, аппарат двигался; я мог следить, как звезды переходили справа налево через черное пятно на горизонте, где пропеллер заслонял небо.

Не знаю, как долго оставался я так, жадно вглядываясь вперед и размышляя о том, что, быть может, меня влечет какая-то сила к гостеприимному побережью. Но внезапно меня снова охватила жгучая жажда, еще более острая и ужасная, чем раньше. Что мне до того, что «Икар» медленно движется над таинственной бездной этого беспредельного моря. Мой мозг всецело, непреодолимо, до галлюцинации был полон одним: пить, пить, пить... И какова ирония моего положения, — мучиться от жажды, когда вода, тоска по которой терзала меня, окружала меня непреодолимым барьером! Больше терпеть я был не в силах. О трудом пополз я вдоль кузова, схватился одной рукой за стойку и, согнув колени, наклонился; свободной рукой я раздвинул водоросли, моя рука коснулась воды, ее свежесть манила меня, и я с жадностью припал к влаге. Но сейчас же я должен был выплюнуть все, что не успел проглотить, — соль обожгла мое воспаленное нёбо. Я испытывал адские муки: лекарство оказалось хуже самого недуга. Меня стало тошнить, мучительная икота раздирала мне грудь; мой лоб, казалось, был зажат в тиски.

Последним усилием воли я взобрался на свое сиденье; мною овладела горькая досада. Зачем было тратить столько усилий, чтобы вернуться в прежнее положение: и не проще ли было разом покончить с мучениями и погрузиться в пучину?

Невыносимо было так долго страдать в ожидании неизбежной смерти. Так заманчиво было сразу избавиться от

мучений. Я принял твердое решение — покончить с собой. Но вся ночь прошла, а у меня не было сил двинуться с места.

Ранним утром, собрав остатки энергии, я перелез через кузов. Несколько секунд я висел над бездной, уцепившись руками за обшивку; в эти мгновения передо мной прошел мой жизненный путь; жизнь мне показалась чудесной, прекрасной; мне искренне было жаль с ней расстаться; пришли мне на память и ваши лица, я прошептал ваши имена... Внезапно я почувствовал утомление в скрюченных пальцах. Мои мускулы ослабли, и я сорвался...

Жестокое сотрясение при соприкосновении с поверхностью воды вызвало сильную боль в голове; я потерял сознание, но холод меня оживил; затем я почувствовал, что длинные усики водорослей устремляются ко мне и обвиваются вокруг моих ног; моя грудь, казалось, была сжата тысячью колец гигантской рептилии; только голова моя оставалась еще свободной. При мысли, что водоросли, как спруты, обовьют вскоре мой лоб, заполнят рот, наложат повязку на мои веки, — я содрогнулся...

Нет, это было слишком ужасно! Я страстно хотел умереть, но не такой ужасной смертью. Безотчетно я был охвачен судорожным ужасом, мои руки конвульсивно содрогнулись и, сам не знаю как, я в полузабытьи уцепился за один из поплавков.

Истомленный, разбитый, я застыл в этой позе. Сколько времени пробыл я в таком положении? Как я мог вырваться из смертельных объятий саргасс? Каким образом снова я вскарабкался на свое сиденье? Откуда взялись у меня силы? Этого я не помню, в моих воспоминаниях тут какой-то мрак; и все-таки я снова открыл глаза и увидел освещенное солнцем небо и мой пропеллер, который казался стрелкой остановившихся часов, указывающей на злобещий час кончины.

О! Солнце болезненно обожгло мне лоб! «Икар» движется и сильно колеблется. Я принужден держаться руками, чтобы не упасть, и все-таки пропеллер неподвижен. Мне кажется, что крылья идут вперед, обрывая вязкую массу,

которая тянется вдаль, насколько хватает глаз, и каждый раз, как накрывается аппарат, саргассы протягивают тысячи усиков, как бы желая обвить его.

Но меня мучит жажда, жажда! Жидкость, которую проглатывает мое горло, жжет, как огонь! Жидкость с тошнотворным вкусом, которую я пью, припав к каучуковой трубке, эта жидкость — бензин!

.....

Колокола замолкли. Но уже сладостно убаюкивают звуки невыразимо очаровательной музыки. Что это, — не ветер ли колышет ремни и обшивку «Икара»? Существуют рассказы про Эолову арфу, вибрирующую под дуновением зефира, про голоса, идущие из морских глубин, нежные, чарующие голоса! И эта мелодия, слов которой я не могу разобрать, напоминает мне что-то знакомое... Неужели это твой хор, о, Эсхил, явился стенать над моей агонией?.. Вся моя любовь к древней Элладе, казалось, воскресла при звуках этой мелодии. Я начинаю ясно различать греческие слова... и волны, по-видимому, расступились, чтобы дать место силуэтам женщин... Эти длинные руки, протянутые ко мне, это уже не липкие щупальца саргасс; эти груди, рассекающие волны, они подобны килю трирем; это античные сирены, очаровавшие аргонавтов! Они явились увлечь меня в подводные обитатели! Я ощущаю на лице свежесть их рук. Они увлекают меня, нежно убаюкивая, и меж их рук я с улыбкой проскальзываю к освободительному забвению.

Глава VII

Что это? Я грежу. Мертв я или жив? Сирены ли увлекли меня в их влажное царство, в зеленые глубины Атлантического океана? Я нахожусь в огромном гроте; мои усталые глаза едва улавливают его свод: в полумраке, господствующем в этих таинственных глубинах, сверкающими пятнами вырисовываются сталактиты; я покоюсь на подстилке из сухой листвы; запах терпентина исходит от этого нежного ложа. Сладостно распростерто на нем мое истомленное, полумертвое тело; вокруг меня почва покрыта мельчайшим песком, белым, точно серебряная пыль.

Я больше не страдаю, жгучая жажда исчезла: только члены мои онемели от истощения, и самый мозг мой погружен в какую-то нирвану, и все физические ощущения не вызывают в нем никакого движения мысли.

Где я? С усилием я приподнял голову. В этой амфоре из красного песчаника с узким горлышком, наверное, вода. Я вспоминаю, что мои губы уже касались ее влаги; медленно протягиваю я к ней руки и медленно, медленно пью долгими глотками освежающую и благоухающую воду, которая струится между моими зубами, как река жизни, орошая мое существо.

Теперь уже с меньшим трудом удастся мне поставить возле себя амфору, и при этом движении я замечаю, что откуда-то исходит свет, наводняющий странным сиянием весь грот с высоким стрельчатым входом, лучи солнца льются в него, тянутся длинными золотыми нитями через песок. Поверхность пола полого спускается к самому морю, которое виднеется голубой лентой вдоль горизонта до половины высоты входа в пещеру.

Я различаю на берегу человеческую фигурку, которая, по-видимому, направляется в грот; это, должно быть, женщина; ее волосы светлы, как лен; они ореолом окружают ее лоб и укреплены на затылке узкой темно-красной лентой; любовь ли то была к античным образам, но эта при-

ческа мне неожиданно напомнила одну танагрскую статую. Женщина приблизилась, на ней не было одежды, и тело ее казалось прозрачным под ласками солнца; не поворачивая головы, она мелькнула, как видение, перед стрельчатым сводом; на синеве океана вырисовывался ее безупречный профиль; ее кожа была странной белизны; она подняла на мгновение свои длинные руки, чтобы поправить прическу, открывая очерк своей заостренной юной груди; ее походка была легка, как поступь сальфиды, ее стройные, тонкие ноги были обуты в сандалии и ступали по песку движениями, полными благородства и величия.

Я следил за ней несколько мгновений, пока она исчезла из рамы входа в пещеру. Но неужто вправду мимо грота промелькнула женщина? Не было ли это игрой утомленного воображения? Не фигура ли это с фриза Парфенона, странным образом восставшая с такой живостью в моей памяти? И почему с такой настойчивостью встают передо мной образы древней Эллады? Несомненно, причиной этих галлюцинаций является болезненное расстройство моего мозга; эти сирены... этот грот... а сейчас эта женщина... Если бы убедиться хотя бы в том, что я жив...

Напрасно напрягал я все мускулы, чтобы приподняться, — мне не удалось привстать. Я прикоснулся рукой ко лбу, я ощущал свое тело. Нет, я жив; но где же я? Я попытался крикнуть, но только слабое стenanье сорвалось с моих губ.

И вот, в то время, как я терялся в догадках, совсем близости послышался кристальный голос, до меня доносились слова, и опять-таки эти слова были греческие; я уловил их смысл:

Гектор,

Так размышляя, стоял, а к нему Ахиллес приближался,
Грозен, как бог Эпидалий, сверкающий шлемом по сече.
Ясень отцов Пелионский на правом плече колебал он
Страшный; вокруг его медь ослепительным светом сияла,
Будто огонь расплывавшийся, будто всходящее солнце.
Гектор увидел и взял его страх. Больше не мог он

Там оставаться, от Скейских ворот побежал, уstraшенный...

Это были стихи, и мне казалось, я уже слышал их, но голос продолжал далее.

И, как на играх, умершему в почeсть победные кони
Окрест меты беговой с быстротой чудесною скачут;
Славная ждет их награда, младая жена иль треножник, —
Так прекрасно они пред великою Троей кружились,
Быстро носящиеся. Все божества на героев смотрели;
Слово меж оными начал Отец и бессмертных и смертных*.

Голос затих, удалялся. О, Гомер, я услышал два отрывка из твоей дивной поэмы. Это сказочный бой между великими героями Илиады, Ахиллом и Гектором; повествование об этом пробудило во мне волну воспоминаний! Мне вспомнилось дальнейшее течение поэмы, и я готов был продолжать повествование, рассказать про смерть Гектора, описать горе Приама, Гекубы и Андромахи.

Каким чудом, перескочив через тридцать веков истории, перенесся я к мифическим временам троянских войн? Напрасно искал я объяснения: было несомненно только одно, что я, человек двадцатого столетия, вижу, как в раме, образованной стрелчатým входом, воскресает древняя Греция...

Впереди шествовала медленными ритмичными движениями процессия женщин, подобных той, которую я только что видел на побережье; одeяние их состояло только из гирлянд незнакомых мне цветов, свешивающихся гроздьями с их тел между грудями до самых бедер. Подобно модельщицам Эсхила шли они в два ряда, неся в перевитых лентами руках зеленые ветви, колебля их в такт своим шагам.

За ними следовал, опираясь на белую трость, старец, украшенный виноградными лозами, сопровождаемый юношами. Их одеждy тоже составлял лишь пояс из древесной листвы. Они были так худощавы, их кожа была так бес-

* «Илиада», пер. Гнедича.

цветна, их жесты были так таинственны, что я вопрошал самого себя, не процессия ли это призраков, явившихся на мое погребение.

Нет и нет! Все это не могло быть реальностью! Это призраки моих грез! И вот они приблизились ко мне, наклоняются над моим ложем; я хочу говорить, но мой язык парализован, ни один звук не срывается с моих губ. Их руки протягиваются ко мне, они поднимают меня, и при этом движении меня охватывает такая боль, что я выпускаю крик...

Что такое происходит? Мне чудится, что мое ложе водрузили на носилки; покачивание носилок в такт ритмическим шагам носильщиков навевает приятную дремоту; я пробуждаюсь от холода, коснувшись ледяной воды, в которую они меня окунули; три раза погружали меня в воду, я раскрываю глаза и вижу, что я обнажен, по мне струится вода, и я распростерт на большой каменной плите.

Солнце в зените, точно огненный шар, море — цвета сапфира, ярко искрится белый песок, как распыленная золотая скатерть. Ни дуновения в воздухе. Недвижимо все на земле. Под суровой ясностью безоблачного небесного свода, застыло море. На противоположной от моря стороне горизонт замкнут полукругом базальтовых скал, между которыми виден ряд темных луночек.

Меня обступили полукругом странные люди; с края от них статуя из белого мрамора. Это ты стоишь на пьедестале в виде колонны, Аполлон Мусагет! Твой образ распознаю я в этом женственном теле юного эстоба; твой профиль вижу я ко всем величии неизъяснимого совершенства античной скульптуры. В своей небрежной позе ты как будто еще прислушиваешься к отголоску мелодии, которая только что замерла на струнах твоей лиры!

От двух бронзовых треножников, расположенных по обе стороны камня, на котором я был распростерт, поднимался легкий, голубоватый дым, напоенный таинственными, неизвестными мне ароматами.

Неужели меня приютил один из островов архипелага? Неужели я на Делосе или Тетре, этих священных местах

твоего обоготворения? Неужели под этим небом, в этой лазури родился ты, Аполлон, бог вечной красоты?

Да, я вернулся к эпохе олимпийцев; вот готовят теофанию во славу Аполлона; вот слышалось пение в созвучии с рокотом волн, — это хор женщин, ритмически колеблющих пальмовые ветви, которые они несут в тонких руках.

«Кифаред, сын Зевса, Аполлон, водитель муз, соблаговоли принять жертву, которую мы тебе приносим, и да будет она плодотворной! Тихо вздымается ее грудь, зачарованная твоими гармоничными созвучиями, ты распростер над ее головой одуряющее курение, от которого нежно смежаются его веки. Аполлон сребролукий, направь удар, долженствующий поразить жертву! Пусть благодетельной струей кровь прольется на камень! Пусть затрепещет тело под мечом гиерофанта, через смерть да возродится в нас жизнь».

Хор продолжал повторять эти слова, но я их уже более не слушал, — непреодолимый ужас объял все мое существо. К камню, на котором я лежал, приблизился старец: он держал в руках золотой широкий нож.

Жертва — это я!

Я силился закричать, приподняться, но я чувствовал, что тело мое оставалось недвижимо и не подчинялось больше моей воле.

Он наклонился. Снова слышались молитвенные возгласы, заколыхались пальмовые ветви, затрещало благовонное пламя, я почувствовал, как холодное лезвие ножа коснулось моей шеи. При этом прикосновении мои мускулы содрогнулись, я схватил руку гиерофанта и отстранил ее; в приливе энергии мне удалось приподняться. Тысячи слов теснились на моих губах, — проклятья, мольбы; и бессознательно, почти независимо от меня самого, воспоминание о древней Элладе с возмущением излилось в слова, которые Эсхил вложил в уста своего Прометея:

— О, эфирные пространства, о, ветер быстрокрылый, истоки рек, и вы, неисчислимые улыбки волн морских; и ты знаешь, мать всех вещей, и ты солнце, глаз которого обнимает бесконечность, вас беру я в свидетели.

Пение смолкло; немое изумление охватило собравшихся; сам старец отступил на шаг, а я, истощенный этим усилием, упал; я соскользнул с камня и, независимо от моей воли, руки мои обхватили подножие статуи.

Глава VIII

Через гигантский стрельчатый вход проникали молочно-белые лучи луны. И почва, словно усыпанная мельчайшей серебряной пылью, сверкала тысячами голубоватых искр, которые отбрасывали фосфоресцирующий свет на стены грота.

Каким чудом я избежал удара меча гиерофанта? Я находился на том же самом месте, как и перед жертвоприношением, на том же самом ложе; воздух был напоен тем же ароматом терпентина. Могло казаться, что я стал жертвой ужасного кошмара; но нет, раньше я был одет в кожаный костюм, теперь я был наг и дрожал от ночной свежести. Я накинул поверх себя несколько охапок листвы; уже несколько окреп; мои движения были свободнее; опершись на руки, я принял полусидячее положение.

Только теперь я заметил, что пещера в глубине светилась красноватым светом. Мне казалось, что где-то там, бесконечно далеко, кто-то носится в фантастическом танце, отбрасывая на стены, покрытые сталактитами, причудливые тени страшных, подвижных призраков. Меня охватил нелепый страх, я пугался этих таинственных существ; я как будто превратился в маленького ребенка; одиночество тяготило меня; я был голоден! Я знал, что неподалеку от меня живые существа; почему же они бросили меня на произвол судьбы? Кто они, эти люди, носившие одеяния античной Эллады? Как мыслят существа с хрупкими телами, прекрасными, но щедедушными и тенеобразными?

Скрип песка под ногами прервал ход моих мыслей; кто-то приближался ко мне. Из глубины мрака выделились четыре белых фигуры. По мере того, как они приближались, в лунном свете все отчетливей вырисовывались их фигуры; вот они совсем близко, видны совсем ясно; это четыре молодые женщины, так похожие одна на другую, что их можно принять за сестер.

Они держались за руки, и все их движения были грациозны и изящны; они казались четырьмя нимфами, ревнивыми хранительницами этой пещеры.

Громадные голубые цветы, похожие на водяные лилии, служили им одновременно и украшением и одеждой. По прихоти их каприза и фантазии они украсили ими голову, руки и талию.

В глубоком восхищении смотрел я на это видение изящества и красоты. О, никакой Апеллес не смог бы изобразить ничего столь прекрасного, никакой Фидий не смог бы изваять их в белом мраморе.

Легкой поступью, едва касаясь песка, как бы танцуя, приблизились они ко мне и с любопытством склонились над моим ложем; я не решался заговорить из страха, что они исчезнут, как мираж; тем не менее, боль, терзавшая мой желудок, заставила меня пренебречь эстетикой: «прежде всего — поесть!» — подумал я; — «какую пищу могут они мне дать?» — И вот, когда их дыхание почти коснулось моего лба, я произнес:

— Я голоден!

Они тревожно обменялись каким-то восклицанием, и, как испуганные голубки, эти четыре фигуры отстранились от меня и исчезли в полумраке.

После долгого молчания я заговорил хриплым голосом; это был крик, который потрясающим эхом отдался от стен пещеры. Очевидно, они предполагали, что я в забытьи, а мой грубый окрик напугал их. Но поняли ли они меня? Я заговорил с ними на языке Эллады, так как это был единственный язык, которым, мне казалось, пользовались эти существа.

И вот я снова лежу в одиночестве, обреченный на жгучие муки голода. Закрыв глаза, я размышляю о невероятном приключении, жертвой которого я оказался. И мне кажется, что уже давно, очень давно улетел я с мыса св. Винцента. Напрасно пытался я сосчитать, сколько дней прошло со времени моего отъезда из Португалии; с того момента, когда я пытался умереть среди саргасс, в моей памяти образовался провал; последнее, что я помнил, это про-

пеллер, выделявшийся на пурпуровом небе, окаймленном на горизонте пальмами. Я вопрошал себя, что же это за оазис, вырисовывавшийся среди этой монотонной равнины водорослей? Каким образом достиг мой «Икар» этого неведомого края, и на этой ли самой земле нахожусь я теперь?

— Странник, прими пищу.

Эти слова произнес около меня музыкальный голос. Я открыл глаза.

Передо мной стояла одна из четырех женщин, в испуге разбежавшихся при звуках моего голоса. Держа ладони рук наподобие чаши, она протягивала мне финики и бананы. Я так изголодался, что мог думать только о пище, и молча схватил фрукты; с жадностью, не произнося ни слова, набросился я на них; мякоть их была вкусна и ароматична; я наслаждался; этот чисто животный акт целиком поглотил меня, и только когда все было съедено, я взглянул на женщину; она с удивлением смотрела на меня.

— Как ты голоден, — прошептала она и рассмеялась мелким ребячьим смехом. — Вот, возьми еще мед! — и она протянула мне глиняную чашку о золотистым ароматическим медом.

Я едва прошептал «спасибо» и с жадностью поднес к губам чашку.

Неизъяснимое наслаждение охватило меня; мне казалось, что эта пища вернула мне прежнюю бодрость, и теперь я мог подумать о том, чтобы выразить признательность той, которая позаботилась обо мне.

Но в тот момент, когда я хотел высказать ей мою благодарность, стыд замкнул мои уста; я вспомнил, что на мне не было никакой одежды. Правда, я уже мог видеть, что у жителей этой страны было не в обычае пользоваться одеждой, но надо мной тяготело наследие культуры, я стеснялся взглядов этой белой женщины, свободной от всяких предрассудков и условностей.

Пока я стоял в смущении, женщина взяла амфору и поднесла ее мне.

— Выпей, странник, — сказала она. Изысканная грация ее библейского жеста сделала воду в амфоре, которую я поднес к своим губам, еще более живительной!

И, когда она поставила обратно сосуд, я, совершенно очарованный, произнес, как только мог нежнее:

— Женщина, ты прекрасна и добра; скажи, кто ты, чтобы я мог тебя поблагодарить?

— Я — Тозе, дочь Тизис!

— Да возблагодарят тебя боги, Тозе, за твое милосердное сердце и несравненную доброту; не уходи, позволь мне спросить тебя, как я попал сюда и как называется эта страна?

— Не знаю, откуда ты пришел, — ответила она, — мы подобрали тебя полумертвого на берегу нашего острова, который называется Аполлонией.

— Аполлония, — это название мне неизвестно; а как зовется море, омывающее берега вашего острова?

— Это океан, другого названия я не знаю.

Она отвечала, глядя на меня с изумлением; я начал понимать, что она дикарка, но все-таки мне было непостижимо, почему местные жители говорят на древнегреческом языке.

— Значит, я первый чужестранец, попавший на ваш остров?

— Нет, но ты один умеешь говорить по-нашему.

— А другие? Что случилось с ними?

— Они умерли; их язык был нам непонятен.

— А ваши корабли никогда не попадают в другие страны?

— У нас нет кораблей, — ответила она; — и я никогда не слыхала, чтобы жители Аполлонии проникали за преграду водорослей, окружающих наш остров; да и зачем уходить? Мы счастливы! А чужестранцы, попадавшие к нам, казались такими варварами, такими грубыми, что у нас не было желания познакомиться с их отечеством.

Я с изумлением смотрел на нее; с каким презрением эта девушка, которую я внутренне считал за дикарку, относится ко всему остальному миру! До какой же утонченности до-

шли аполлонийцы, если они к нескольким мореплавателям, случайно попавшим на этот неизвестный ни для кого остров, относятся с таким презрением и даже отвращением! Каким образом и когда попали люди на этот остров, отделенный от всего остального мира непроходимой чащей водорослей? Тысячи вопросов теснились в моем мозгу. Между тем Тозе продолжала:

— Все это не так важно, чужестранец! Ты теперь жив, а ты мог погибнуть от жажды и голода на пустынном океане. Возблагодари Аполлона, который позволил попутному ветру пригнать твой корабль к нашим берегам; вечером на закате солнца мы заметили странное судно, на котором ты находился; никогда мы не видали ничего подобного. Это заставило нас предполагать, что ты отличаешься от потерпевших крушение чужестранцев, которых случалось нам подбирать до сей поры; казалось, что ты скользил по травам, подобно тем сказочным существам, которых поэты называют птицами; ты был недвижим и оказался таким тяжелым, что мы не знали, сможем ли мы доставить тебя в грот. С большими усилиями мы притащили тебя по песку до этого ложа; ты не подавал никаких признаков жизни; мы испугались, думая, что, может быть, притащили труп, но после того, как мы влили тебе в горло несколько глотков воды, ты начал дышать, и у тебя забилося сердце; это нас очень обрадовало.

— Но тогда почему же после стольких стараний вернуть мне жизнь вы пытались меня убить?

Опустив глаза, она ответила мне тихим голосом:

— Бог принимает в жертвоприношение только живых существ; и он хочет, чтобы текла кровь и трепетало тело.

— Значит, это правда, что ваш жрец хотел перерезать мне горло на священном камне?

— Да, — ответила она, — Хрисанф-старец собирался пронзить тебе горло, когда ты произнес слова божественного Эсхила. Жертвоприношение было прервано, а ты упал без сознания, охватив обеими руками подножие статуи Аполлона, как бы ища у него защиты. Хрисанф повернулся к присутствующим и, воздев руки к солнцу, провозгла-

сил: «Кто ты, чья благородная красота поколебала руку жреца? И это кто, в момент смерти, пользующийся нашим языком, чтобы призвать в свидетели небо и стихии? Глубокой тайной покрыто все это, и я считаю, что жертвоприношение следует отложить».

И все, потрясенные неслыханным чудом, единогласно одобрили слова Хрисанфа, осторожно разняли твои объятия и принесли тебя обратно сюда; завтра старец объявит, каков будет твой жребий, но знай, о, странник, что вся Аполлония расположена в твою пользу.

Ее рассказ поразил меня! Вся эта сцена, пережитая несколько часов тому назад, восстала в моей памяти, и я не мог понять, что это был за народ, такой утонченный и в то же время введший в обычай жертвоприношения людей, тогда как греческий культ относился к этому с ужасом.

В то время, как я размышлял, Тозе приподнялась, и заря, загорававшаяся среди скал над громадной бухтой, отбросила на женщину розовый луч; вся пещера зарделась; радутой расцвели сталактиты. Но феерическая красота всего, что меня окружало, бессильна оторвать мой взгляд от стройной женской фигуры, которая в первых лучах восходящего солнца расцвела предо мной, как дивный цветок тропиков.

В ее янтарных волосах крупные голубые неньюфары отливали аметистом, и я думаю, что никакие драгоценности, никакие бриллианты не могли поспорить с естественной красотой ее пышного убора.

В очаровании Тозе созерцала океан и в широко открытых ее глазах были видны те оттенки бирюзы, что и в волнах моря, слабо колыхавшегося под дуновением утреннего ветерка; ее ноздри трепетали от наслаждения и неосознанная улыбка закруглила ее бледные губы.

Меня поразило то, на что до сих пор я не обращал внимания: ее необычайно узкие плечи, над которыми поднималась очень длинная шея, поддерживающая до странности миниатюрную голову, вроде тех, какие можно видеть у античных мастеров на танагрских статуях.

Все это указывало на утонченность, дошедшую до крайнего предела, почти до вырождения.

Тонкая кожа, белизна которой в меняющемся освещении приближалась иногда к голубоватым оттенкам, узкая заостренная грудь гермафродита, длинные члены, чрезвычайная изысканность жестов к речи, — все это как бы воплощало изысканный идеал утонченного художника-мечтателя, все это было прекрасно и... болезненно.

Эстетизм здесь был доведен до такого предела, что за ним начиналось уже неизбежное вырождение. От этой тонкой красоты исходил словно осенний аромат роскошно распустившихся цветов, у которых при первой непогоде начнут опадать лепестки.

Всею своей художественной чуткостью дилетанта созерцал я ее в немом восхищении.

Солнце, уже поднявшееся над поверхностью воды, окружило светлым ореолом аполлонианку, веки которой трепетали, ослепленные светом.

Восхищенным голосом я прошептал:

— Тозе!

Она взглянула на меня, наклонилась и, когда я попытался схватить ее маленькую руку, она отстранилась от моей ласки и быстрым движением исчезла в таинственном полумраке грота.

Глава IX

Я заснул; солнце дошло, между тем, до зенита; инстинктивно я выпрямился и с радостью убедился, что не почувствовал никакой боли при этом движении. Опираясь о стену, я встал на ноги; голова немного кружилась, ноги дрожали, но через несколько минут я твердо мог держаться на ногах. Осторожно, опираясь рукой о скалы, я рискнул пройти несколько шагов; мои суставы слегка ныли и с трудом сгибались; мускулы плохо повиновались, но там, внизу, на песке, солнечные блики неудержимо манили к себе мое тело; мне казалось, что если я смогу добраться туда и согреться в лучах солнца, то от тепла растает неподвижность моих оцепеневших членов.

Какое наслаждение растянуться на раскаленной земле, расправить заочевенные члены и отдаться живительным ласкам солнца! Это физическое удовольствие вознаградило мои усилия, я вкушал его в полной мере, распростершись перед входом в пещеру. Запрокинув голову, полукрыв глаза, я неподвижно лежал, опьяненный сладостными ощущениями, чувствуя, как мало-помалу воскресает жизнь во всем моем существе.

Время текло и, несмотря на сладостную лень, заставлявшую меня пребывать без движения, голод принудил меня подняться; целительное действие солнечной ванны уже сказалось, и я начал двигаться вдоль берега почти твердыми шагами. Но вскоре я почувствовал безотчетную неловкость и вернулся в грот, чтобы обвить себе бедра поясом из листвы, который я укрепил несколькими стеблями, выдернутыми из моего ложа. И только когда я несколько прикрыл наготу, я подумал, что сделал это почти автоматически, независимо от меня самого, повинаясь привычкам многовековой культуры.

Но новое впечатление быстро рассеяло эти мысли.

В нескольких сотнях метров виднелась статуя Аполлона и камень, на котором собирались закласть меня в жертву.

Это воспоминание производило на меня впечатление страшного кошмара; я наслаждался тем, что жизнь восстановилась во всем моем существе; теперь мне казалось невероятным, чтобы в силу кровожадного ритуала меня возложили на камень для заклания в жертву богу того самого солнца, которое только что вернуло мне жизнь.

Гнев охватил меня при этой мысли; я готов был бороться с варварскими существами, пленником которых я оказался. Стремление вырваться от них встряхнуло меня, и я побегал так быстро, как только мог. Спустившись к самому морю, я оказался около темных скал, окружавших грот. Я нашел тропинку, которая извивалась по их склонам; с трудом я поднимался по ней; я поранил ноги, так как под ногами был уже не мягкий песчаный берег, а скалистая почва, усеянная острыми камнями.

Наконец, я достиг плоской возвышенности и в утомлении упал на траву; я достиг высшей точки на острове. В какую бы сторону я ни вглядывался, всюду океан замыкал горизонт, ограничивая монотонные бирюзовые пространства перепутанных саргасс. Это недвижимое пространство без единой неровности казалось мне свинцовой пеленой. Странная вещь, барьер из водорослей начинался только за полкилометра от берега, так что вся Аполлония была окружена своего рода широким каналом. Кроме того, мне казалось, что вязкая и плотная масса морских трав местами прорезана узкими лентами воды, блестящими при солнечном свете.

Под обрывом возвышенности, на которой я находился, было песчаное побережье, на котором возвышалась статуя Мусагета; я наклонился, желая узнать, обратили ли внимание на мое отсутствие, но никого не было видно. Остров казался пустыней. Я высчитал, что поверхность его могла равняться нескольким сотням гектаров; кроме того, часть острова была скрыта от меня дугой скал, возвышавшихся предо мной.

Противолежащий песчаному берегу склон горы был отлог и постепенно переходил в долину, по которой должна

была протекать река, как я мог догадаться по пышной растительности тех мест.

Действительно, вся долина была покрыта характерными для тропиков деревьями. Они зеленели даже на склоне горы. Я распознал здесь большие гладкие листья финиковых пальм и более светлые и широкие листья бананов, которые выделялись на фоне темной зелени гранатовых деревьев, украшенных звездообразными крупными красными цветами, но все это утопало в зарослях растений и деревьев, которых я не мог распознать и которые представляли густую массу зелени, волнующуюся при теплом дуновении морского ветерка.

Несколько древовидных папоротников и карликовых пальм являлись переходной ступенью к луту, на котором я находился. Вокруг меня трава была испещрена множеством пестрых цветов, и от теплой земли исходило опьяняющее благоухание тысячи разнообразных запахов.

Я сделал несколько шагов, с наслаждением вдыхая в себя благовонные ароматы растений, как вдруг вокруг меня раздалось жужжание. Целый рой пчел снялся с места и летел вместе со мной. Я направился к оазису, так как надеялся найти на фруктовых деревьях плоды, чтобы утолить голод.

Среди зарослей папоротников мое внимание привлек каменный столб; я направился к нему; вблизи от него я услышал серебристое журчанье ручейка, пробивавшегося между скал.

С жадностью я наклонился к воде и с наслаждением пил ее, набирая в свою ладонь; я омыл свое лицо, руки и усталые, окровавленные ноги.

Тут же у ручья свесились с банана пышные гроздья золотистых плодов, которые я и сорвал с красноватого стебля. Необычайно сладостной показалась мне эта первая вольная трапеза на лоне безмятежной, изобильной, великодушной природы. Оазис предлагал мне убежище в глубинах своих недр, спокойствие в тени своих чащ; никакой шум, разве только шелест волнуемых ветром пальм, не мог

нарушить глубокое спокойствие, которое так целительно действовало на мое истомленное сердце.

Я шел вдоль ручья, который ниспадал каскадами до ложбины в долине; сквозь ветви цветущих гранатов я увидел полоску воды; среди купы пальм блестели прозрачно-голубоватые воды озера; оно было так мало, что склонившиеся к воде деревья противоположащих берегов, казалось, хотели слиться друг с другом, образуя непроницаемый купол над бирюзовым водным зеркалом. Берег местами был покрыт зарослями камыша и тростника, между которыми виднелись широкие венчики голубых неньюфар на плоских громадных листьях, небрежно лежащих на поверхности воды.

С любопытством пробираясь среди морщинистых пальмовых стволов, я внезапно остановился и попытался укрыться: между камышами двигались человеческие фигуры; я различал полупогруженные в прозрачное озеро тела женщин, резвящихся среди причудливых цветов водяных растений.

Нереиды? Ундины? Сирены? Они забавляются; до меня доносятся жемчужные переливы их радостного смеха, и по временам та или другая, более смелая, отделяется от группы подруг и с несравненным изяществом выплывает на середину пруда. Я угадываю под кристальной ясностью волн нежные формы ее стройного опалового тела. Я остаюсь недвижим в очаровании этого зрелища, напоминающего мифические времена, когда сладострастные нимфы мелькали между стволами лотоса, заигрывая с фавнами, которые подстерегали их на берегу, наигрывая на свирели томные мелодии.

Мысль о побеге куда-то исчезла... Внезапно я вздрогнул: чья-то рука легла мне на плечо. Рядом со мной стоял старец Хрисанф; это был человек среднего роста с безбородым лицом. Его тело было изящно и стройно и только кожа оттенка слоновой кости и почти полное отсутствие волос указывали на его преклонный возраст. Что меня особенно поразило, так это замечательная глубина его глаз,

глядевших из-под полумрака, образованного дугой бровей, и отливавших золотистыми искрами зрачков.

Его пронизательный взгляд был долго устремлен на меня.

— Чужестранец, — спросил он, — как ты пришел сюда?

— О, старец, — сказал я с укором, — не без причины бежал я из пещеры, в которую вы меня положили. Не забыли твой народ святыне законы гостеприимства до такой степени, что пытался заколоть того, кого судьба доверила его заботам? И я бежал из опасения, что возобновятся преступные попытки умертвить меня.

— Ты не прав, предполагая, что мы питали против тебя дурные намерения, — возразил Хрисанф, — бог указал нам, что ты не предназначен для жертвоприношения на его алтаре. Перестань же бояться.

Я с удивлением взглянул на него; старец продолжал:

— В этом сокрыта странная тайна, которую я хочу попытаться разъяснить тебе; до сих пор люди, попадавшие извне на берег Аполлонии, оказывались безобразными и грубыми варварами. Это заставило нас думать, что на всей остальной земле культура неизмеримо ниже нашей и население состоит из существ, могущих возбудить к себе лишь чувства презрения и отвращения.

Я вспомнил, что то же самое говорила мне в гроте Тозе. Может ли быть, чтобы аполлонийцы не имели никакого представления о современном мире?

Хрисанф прислонился к корявому стволу финиковой пальмы и, протянув ко мне руку, с недоумевающим видом продолжал:

— Да! Даже их язык груб и негармоничен, их тела тяжеловесны, неуклюжи, некрасивы, как у бессмысленных быков, которых, по словам нашего Гомера, закалывали мы, как жертву на алтаре Аполлона; но во всем твоём существе, чужестранец, разлиты красота и изящество, каким могут позавидовать боги; твой взгляд подобен небесной лазури, в твоих зрачках светится огонь благородного ума, и в довершение всего мы были поражены тем, что твои уста неожиданно пролепетали бессмертные слова, которые в ста-

рину пленяли наших отцов, и благоговейная память о которых сохранится и в нашем поколении; ты говоришь на нашем языке, как будто ты один из нас. Кто обучил тебя песням божественного Эсхила? Каким образом научился ты языку наших предков?

— Старец, я смущен речью, с которой ты только что обратился ко мне; не думаешь ли ты, что все обитатели неведомого тебе мира подобны тем немногим пострадавшим от кораблекрушения людям, которых ты встречал до сих пор? Есть на земле люди, которые и теперь страстно преклоняются перед культом прекрасного; конечно, их немного, но они существуют, и я один из них; ты только что говорил о Гомере и Эсхиле, ты присваиваешь твоему племени право древних греков; знай же, что и другие люди, хотя и непохожие на вас, страстно любят, как ты, величие афинян, жаждут называться детьми древней Эллады, погружены в изучение текстов, памятников и статуй. Они мало-помалу восстановили облик греческой души, научились говорить на мелодичном языке автора Прометея и мыслить вместе с создателями Федона. Старец, я тоже принадлежу к ним; но я не думал, что настанет день, когда мой горячий культ античной красоты остановит нависший над моей головой смертельный удар. Я не подозревал, что существует еще народ, сохранивший неприкосновенным гармоничный язык, на котором говорили герои троянской войны. Позволь мне, старец, в свою очередь спросить тебя, как случилось, что на острове, затерянном в Атлантическом океане, на баснословном расстоянии от Архипелага, живет народ, который, по-видимому, проникнут чистыми эллинскими традициями?

Хрисанф изумленно посмотрел на меня.

— К чему, — сказал он, — разыскивать в книгах язык и историю Афин? Очевидно, мы не ошиблись, полагая, что только мы одни сохранили яркий светоч наиболее прекрасной цивилизации. До какой степени падения дошли люди твоей расы! Каковы же тогда их занятия? Каков идеал тех, которые пренебрегли творениями человеческого ума наиболее прекрасного, великого и благородного?

— Ты прав, старец, люди моей расы утратили интерес к достижениям высшей красоты; страсть к роскоши, увлечение наслаждениями, жажда увеличить благосостояние — все это пленило их; сверх этого они ничего не видят; ты хочешь знать, откуда я пришел, куда уйду, — для тебя это не имеет значения! Ты ничего не поймешь, если я скажу, что мое отечество называется Францией, что я хотел попасть в Америку, а вместо того судьба привела меня на берег Аполлонии.

Хрисанф покачал головой с видом равнодушия:

— Ты прав, чужестранец, — сказал он, — мы уже предугадали то, что ты сказал о своей стране, и для нас не интересны причины, приведшие тебя сюда. Никто и никогда не мог покинуть Аполлонии для другой страны. И не следует ли считать делом руки бога, нам покровительствующего, это поле трав, скопившихся вокруг нас, чтобы заставить нас отказаться от желания увидеть страны с чужой культурой, а также, чтобы предохранить нас от вторжения варваров из другого мира?

Старец выпрямился, и мы пошли вдвоем среди благоухающего лабиринта пальмовой рощи. Через просветы в сводах, образованных деревьями, видно было ярко-голубое небо и солнце, роняющее золотистые блики на изумрудную траву. Мы спустились вдоль ручья, который пересекал маленькое озеро и бежал дальше к морю.

— Смотри, — продолжал Хрисанф, — на сияющее величие окружающей нас природы. Желание покинуть остров, так чудно расположенный, не является ли неблагодарностью, даже если бы это желание можно было осуществить? Но ненасытный ум, который таится в глубине каждого человека, мог бы в нас возбудить желание познать другие небеса, величие других горизонтов, свежесть других дубрав. Я воздаю благодарность божеству, которое ограничило наши вожделения этим незначительным пространством нашего острова, где мы будем счастливы, если нам нельзя будет и мечтать о чем-нибудь ином.

— Но в таком случае, старец, скажи, когда и каким образом пришли сюда твои предки?

— Я знаю, — ответил Хрисанф, — только то, что говорит об этом наше предание. Было некогда время, когда древняя Эллада увидела, как некоторые из ее наиболее смелых детей отправились основать колонию в стране, называемой Тринакрией; наши предки тоже принадлежали к таким выходцам. Однажды они отчалили от берегов старого Коринфа в поисках новых стран; по волнам океана двигались их триремы килем к Западу, — но Нептун поднял бурю и увлек корабли к столпам Геракла, где некоторые корабли разбились о прибрежные скалы, а другие, более счастливые, проскочили через этот страшный проход, и оттуда прихотливые ветры несли их неудержимо по неведомым волнам. Так текли дни за днями, пока покровительствующая рука богов не привела их к этим берегам. Возблагодарив богов, путешественники поразмыслили о бедствиях, которые претерпели они во время долгих часов своих странствий, и решили остаться на этом острове, который они называли Аполлонией. Здесь они и обосновались, со своими семьями; они счастливо жили среди ласковой и гостеприимной природы. Постепенно число колонистов выросло, оказалось, что остров был слишком мал; пищи для выросшего населения не хватало; наступило ужасное время; один из поэтов, Атимос, в возвышенных строфах рассказывает ужасы этой страшной войны с голодом. Некоторые решили снова спустить на воду старые триремы и отправиться на поиски новых земель. Но на некотором расстоянии от Аполлонии море оказалось загроможденным массой морских трав, в которых запутались триремы, и оставшиеся на острове беспомощно наблюдали за медленным угасанием своих собратьев. Я знаю все это из преданий, которые из уст в уста передаются от одного поколения к другому. После этой отдаленной эпохи, когда из-за голода погибло так много наших предков, Аполлония не подвергалась больше опасности голода; сама природа устранила опасность, происходившую от роста населения; в наше племя не вливался приток чуждой крови; наши союзы стали менее плодовиты, и число жителей постепенно стало уменьшаться. Сейчас Аполлония едва может насчи-

тать до ста обитателей; может быть, даже настанет день, когда навсегда угаснет наша раса за отсутствием потомков, унося с собой последние остатки культа Идеального.

По мере того, как говорил Хрисанф, мое удивление возрастало. Передо мной стоял человек, связанный своим происхождением и культурой с наиболее чистыми традициями древней Греции. И эта культура не подверглась никакому чужестранному влиянию! Мне было чрезвычайно интересно изучить до конца эту цивилизацию, по меньшей мере такую же утонченную, как наша, но которая, исходя из тех же истоков, ограничила свое развитие единственным идеалом Красоты.

Устье ручья было усеяно камнями, которые заставляли восхитительно журчать его ясные воды; передо мной стоял старец; его силуэт четко вырисовывался на фоне моря, и я снова задавал себе вопрос, не является ли все это игрой моего воображения.

И под аккомпанемент журчащего потока снова раздался голос Хрисанфа:

— Чужестранец, я не знаю, какую жизнь ты вел в стране, откуда ты пришел, и не желаю этого знать; но на основании твоих же слов мне кажется, что ты достаточно близок к нам, чтобы воспринять наши взгляды на жизнь; забудь все, что заставило тебя попасть на океан; забудь плохо устроенный мир, краткий, но печальный очерк которого ты только что сделал. Твоих немногих слов уже достаточно, чтобы понять, до какой степени он отвратителен. Аполлония принимает тебя, как сына; здесь не найдешь ты вождения ни к роскоши, ни к честолюбию, ни алчного стремления увеличить свое достояние. Прошли века с тех пор, как наши философы показали всю суету и безобразие чувственности и тщету даже самой чувственности, хотя бы только в одном воображении. Одним вождением мы преисполнены — вождением к разуму; одной страстью охвачены — страстью к прекрасному; но к прекрасному, очищенному от всяких чужеродных примесей, к прекрасному, черпающему свои истоки только в разуме и умознении; вот

почему из всех богов мы сохранили только одного, являющегося прообразом нашего Идеала,

— О, Хрисанф! — воскликнул я, — ты не можешь представить, какой радостью преисполнили меня твои речи; все то, что сказал ты мне о вашей цивилизации, заставило меня понять, как справедливы были твои полные презрения слова к моим сородичам. Часто среди бессмыслицы и безобразия того мира, которого ты не знаешь, я жалел, что не родился в славные времена, когда процветал в Греции культ Красоты. И вот моя мечта осуществилась; ты предоставляешь мне право гражданства в божественной Аполлонии, в последнем прибежище тех, кто понимает, какою должна быть жизнь.

Легкой поступью из лесу выбежала группа женщин, обремененных цветами и плодами. Они приблизились, и я узнал среди них белокурую Тозе: мне казалось, что она с волнением взглянула на меня; но Хрисанф уже направился к грациозной группе и объявил, что Аполлония теперь насчитывает одним гражданином больше.

В то время, как ее подруги радостно захлопали в ладоши, Тозе мелодичным голосом запела на импровизированный мотив, который меня очаровал своей красотой:

— Будь дружелюбно принят среди нас, о, странник, пришедший из неведомых стран, в чьем уме тот же идеал Красоты, что и у нас; будь дружелюбно принят, о, странник, на нашем острове, где все полно гармонии и красоты; будь дружелюбно принят, странник, и да будет твое имя Главкос, так как в ясности твоего взора отражается само небо.

Глава X

Наступила ночь; весь день я бродил в компании женщин по пальмовым рощам, помогая им собирать плоды; полнейшая беззаботность проглядывала во всех их движениях; никакая обязанность не тяготила их; они мало интересовались даже самым течением времени, двигались, грациозные и веселые, повинаясь капризу своих желаний; иногда приостанавливались, чтобы собрать цветы и благоуханные плоды; временами сам собой возникал хор и импровизировались песни во славу благодатной природы.

Я оставался немым зрителем этих простых сельских сцен. По сравнению с аполлониянами мои движения казались тяжеловесными и неуклюжими; именно я был варвар и, несмотря на свою книжную культуру, я сознавал, что при попытках подражать им я оказался бы смешным и нелепым; они легко взбирались с кошачьим изяществом на ветви деревьев, откуда грациозно кидали в подруг пурпурные или золотистые плоды; они нисколько не стеснялись в моем обществе; во всех их движениях сквозило странное отсутствие стыдливости.

Я высказал им удивление, что в их разговоре нет никаких отголосков их ежедневных занятий; они мне возразили, смеясь, что этот сбор плодов и является их главным развлечением; остальное время они проводят, как и другие обитатели острова, кто как хочет, без забот и без каких-либо обязательств. Когда я поставил им более определенные вопросы об их жизни, они, по-видимому, перестали меня понимать; я почувствовал, что между мной и ими целая пропасть, и что понять их я смогу, только войдя лично в их повседневную жизнь.

Мы вернулись в грот по дороге, шедшей вдоль моря; женщины начали раскладывать свою ношу, а я отправился в сторону, противоположную той, по которой пришел с женщинами.

В этот вечер изумрудно палевое небо отражалось в застывшей поверхности океана; слева от меня выступал холм розовато-желтым пятном; я направился к темной массе, образованной рощей померанцевых деревьев; склон был усеян острыми камнями и глыбами базальта, придававшими ему дикий вид, представлявший такой контраст с песчаным берегом.

Подвигаясь вперед, я размышлял о своеобразии этого небольшого острова, уединенного среди беспредельного океана за две тысячи километров от всякой земли. Может быть, он являлся самой высшей точкой сказочного континента, Атлантиды, которая, по преданию, опустилась во время ужасной катастрофы на дно моря.

Я вступил в рощу. Вечер был мягкий; под напоенными теплом кущами деревьев все было полно аромата расцветающих померанцев, я медленно ступал по неясному ковру трав, раскинувшемуся в тени высоких стволов.

Между деревьев я разглядел двух людей, идущих мне навстречу. Они не заметили меня; занятые оживленным разговором, они прошли довольно близко, не обратив на меня никакого внимания. Это были молодые люди; в полумраке я рассмотрел только их общий облик эфебов, движущихся гармоничной ритмичной поступью; я расслышал несколько фраз из их разговора.

— Как бы ты к этому ни относился, Мэнило, я считаю, что мы движемся по отношению к звездам, а наша солнечная система разве не подчинена закону тяготения по отношению к другим системам?

Голос их потерялся среди деревьев; я был поражен, услышав, что эти люди рассуждали о теории, которая так занимала внимание ученых мира, только что мной покинутого; какой странный контраст между образом жизни этих людей и утонченной культурой их ума!

Я вышел на опушку рощи; нить мыслей моих прервалась; прямо предо мной тянулась песчаная дорога, спускавшаяся к морю; с обеих сторон она была окаймлена рядом совершенно одинаковых памятников. Ночь окутала землю; луна, как серебряный шар, колебалась над морскими

волнами, освещая дорогу; песок казался снегом, и светлая полоса, которую луна провела по океану, казалось, продолжала до бесконечности аллею, по которой я шел; справа и слева виднелись темные группы померанцевых деревьев, и на фоне их особенно ясно вырисовывались бледные плиты памятников.

Я подошел к одному из камней и с изумлением убедился, что нахожусь в Некрополе острова, что это — надгробные памятники, возвышающиеся по обе стороны этой, в своем роде, священной дороги; в ногах каждого памятника были высечены маленькие ниши, в которых стояли урны из обожженной глины; я разобрал на одной из плит греческую, по-видимому, очень древнюю, надпись; и я понял, что это стихи, оплакивающие неумолимый бег наших дней.

Я продолжал свой путь и вышел на пляж; я убедился, что прежде дорога тянулась дальше; море вследствие оседания земли, поглотило часть дороги; вершины двух памятников еще выступали из волн. Быть может, думал я, настанет день, когда океан совершенно поглотит этот странный остров, и весь остальной мир даже не будет подозревать о его существовании.

Я медленно пошел обратно, мою душу убаюкивали волны поэзии, охватившей меня в такой обстановке; я уселся, прислонясь спиной к одной из погребальных плит; я проникся величавым спокойствием Некрополя; я был восхищен этой традицией почитания мертвых, которая восходит к отдаленным временам зарождения древней Греции и протянулась через все века у этих людей, отказавшихся от всех культов, кроме культа Аполлона.

Перед моими полузакрытыми глазами мелькнуло что-то белое, выделившееся из мрака померанцевой рощи. Что это: материализация души всех этих мертвецов? Исполнение моего желания найти кого-нибудь, с кем я мог бы поделиться своими мыслями в эту минуту?

Фигура приближается, не замечая меня; при ясном лунном свете я узнал в ней Тозе. Почему же так усиленно забилося мое сердце? Почему я вдруг приподнялся? Поче-

му простираются к ней мои руки? И почему стал таким нежным мой голос, когда я прошептал имя молодой женщины?

Она остановилась и без всякого колебания подошла ко мне:

— Как случилось, Главкос, — сказала она, — что ты находишься один в Некрополе в этот поздний час?

— Я пришел сюда, — объяснил я ей, — случайно, во время прогулки, но красота Некрополя меня очаровала и в тот момент, когда ты появилась, я пожелал встретить душу, которой я мог бы высказать то глубокое впечатление, которое произвела на меня эта аллея вековых могил, охраняемая меланхолической луной. Боги услышали мой немой призыв, потому что они направили твои стопы в мою сторону. Итак, садись рядом со мной, чтобы выполнить волю судьбы, которая нас соединила.

Она грациозно села, опершись затылком о ребро памятника, с глазами, устремленными к звездам, и медленно начала говорить:

— Я тоже, Главкос, люблю ночью приходить в большую аллею Некрополя; мне кажется, что я слышу, как голос минувших веков подымается из этих камней; и мне кажется, что я уже не так одинока среди беспредельной природы, когда во мне все трепещет в созвучии с заснувшими вокруг меня предками.

— Разве ты так одинока в жизни, Тозе, что принуждена искать опоры у покойников?

— Тише, моя мать еще жива, — ответила она, — у меня есть любимые подруги, но они меня не понимают, находят меня странной и смеются надо мной. Часто меня, неизвестно почему, охватывает тоска. Что-то живет во мне, чего подавить я не могу. Что это, — я объяснить не могу, но это сильнее моего разума; иногда мне хочется поверить другим то, что угнетает мои мысли, но когда я пытаюсь высказать, что делается в моей мятущейся душе, на меня смотрят, как на варварку, смеются или упрекают. Ты тоже, конечно, найдешь меня смешной; не знаю, как я решилась высказать тебе мою слабость.

Я смотрю на нее; две слезинки блестят на ее ресницах; с нежностью наклоняюсь я к ней и кладу руку к ней на плечо:

— Я не нахожу ничего смешного в чувствах, о которых ты мне поведала, и я не понимаю ни твоей матери, ни подруг, если они смеются над печалью твоего сердца.

— Так ты не думаешь, — ответила она с изумлением, — что наше сердце источник заблуждений и что высшее в нашем существе должно уметь подавлять причину этой слабости?

Я вспомнил в этот момент слова Хрисанфа об уничтожении всякой чувствительности и чувственности в культуре у аполлонийцев, но я не предполагал, что это заходит так далеко, и с любопытством спросил:

— Итак, ты никого не любишь? У тебя нет ни жениха, ни супруга?

Она засмеялась:

— Неужели в твоей стране до сих пор еще есть женихи и мужья? Ваша цивилизация, значит, еще не преодолела этого варварского обычая любви? Здесь у нас всякое чувство рассматривается, как самая непристойная слабость, наиболее постыдное из всех ощущений; наш народ уже давно освободился от ига всяких страстей, которые делают человека мелким; мы не знаем любви, о которой говорят поэты древних времен; мы испытываем ужас и отвращение, слушая те места из творений, где говорится о чувствах, которые свергли с царского трона разум.

Я был совершенно поражен речью девушки; и все-таки, несмотря на все стремление этой расы установить единовластие ума, эта женщина бессознательно являла доказательство жизненности чувств в человеке; тревожные порывы, о которых она только что поведала мне, не свидетельствовали разве, что ее сердце не удовлетворено? Я даже задавал себе вопрос, не попались ли аполлонийцы на приманку своего тщеславия и не играют ли они самую жалкую из всех лживых комедий.

Меня охватило желание пробудить в этой женщине страсть, которая в ней, как она думает, убита, эту страсть, ко-

торая на самом деле, конечно, не могла умереть совершенно, так как ее полное исчезновение повлекло бы за собой смерть всей расы. Я задал ей вопрос:

— Все-таки нужно, чтобы инстинктивное влечение толкало женщин в объятия мужчин, чтобы продолжать жизнь, покрывая убыль умерших. Разве в Аполлонии считают идеальными бесплодные союзы?

— Нет, — отвечала Тозе, — но единственно только по необходимости мы совершаем такие действия, и поверь мне, Главкос, что в них мы видим только тяжелую и оскорбительную обязанность.

Я улыбнулся, я был уверен, что девушка в своей наивности передала мне заученный урок; конечно, невозможно, чтобы этот народ до такой степени подавил в себе силу вождения, такого же старого, как само человечество. Исходя из высших идеалов морали, аполлонийцы, несомненно, стараются навязать к выгоде разума молодым поколениям это презрение к чувству и телу, но это должно вылиться во внешнее, искусственное муштрование, которое не имеет под собой никакой почвы; разумеется, эта внешняя выучка моментально исчезает, как только пробудится инстинкт, разбивая оковавшие его цепи.

Меня все более и более захватывало стремление пробудить эту женщину. Я с нежностью нагнулся к ней и прошептал:

— Маленькая Тозе, ты права, вместе с тобой я отвергаю эту скотскую чувственность, которая низводит человека до уровня животного; но поверь мне, что эти меланхолические порывы являются не только источником заблуждений; беспокойная неудовлетворенность, которую ты ощущаешь, не должна быть осуждаема и никакими рассуждениями нельзя ее вытравить. Она является, наоборот, источником радости и красоты, посредством которых человечество с тех самых пор, как оно существует, любит удовлетворять свою жажду. Так же, как и ты, я испытываю в таинственности и спокойствии ночи эту сладостную тоску, которая заставляет набегать слезы на ресницы, сильнее трепетать сердце и простирает руки навстречу дуновению благовонных вет-

ров. Доверь мне твою грусть, я буду твоим другом, и так как у меня бывают такие же порывы и грусть на душе, то я пойму тебя лучше твоих соотечественников.

Моя голова совсем близко склонилась к ней. Медленно касаюсь я своими пальцами ее плеч и хрупких рук; она покорно отдается моим ласкам, и ее глаза спокойно смотрят в мои глаза.

— О, Главкос, никто не говорил со мной так!

Я прижимаю ее к себе, одна из моих рук обвивает ее шею; луна нас омывает своим молочно-белым светом; теперь я говорю вполголоса:

— Никто до сих пор не понял, в чем нуждается твоя душа, о, Тозе; для меня является невыразимой отрадой проникнуть в твою тайную грусть и тебе одной предложить мое сердце, чтобы отразить в нем твое сердце. Чувствуешь ты, как в эту ночь поднимается с земли очаровательное благоухание, которое пробуждает в нас отклики своим мятежным испарением? Смотри, как стал нежен свет, чтобы не помешать нашей беседе; прислушайся к голосу морского ветра, проносящегося над померанцевыми рощами, ласковому, как отдаленная грустная песнь. О, маленькая Тозе, не чувствуешь ли ты, как в тебе оживает что-то безбрежное? Не испытываешь ли ты желания склониться на плечо друга? Смотри, мое плечо готово предложить тебе опору. Маленькая Тозе, маленькая Тозе, неужели ты допустишь пройти мимо красоте текущего часа!

Она ничего не сказала; ее лоб медленно оперся о мое плечо, и я вдыхал запах ее волос; мой рот прикоснулся к ее лбу; она не сопротивлялась, и с нежностью я припал моими губами к ее губам. Но, когда я разомкнул объятия, Тозе осталась к этому безучастна, потом она поднялась и, прежде чем уйти, сказала:

— Спасибо, Главкос, за то, что ты старался понять смутную тревогу, которая томила меня, и в особенности спасибо за то, что ты не бранил меня.

Теперь она исчезла в гнетущем мраке ночи. Я был ошеломлен. Как! То, что она мне сказала, правда; старый инстинкт умер в сердцах аполлонийцев; ни единого мгнове-

ния ее тело не вибрировало под моими ласками, ни мгновения ее бесстрастные губы не трепетали под моими поцелуями; она ничего не поняла, ничего не почувствовала; она ушла равнодушная и спокойная! О, Аполлония, какие сюрпризы еще преподнесет мне твой странный народ!

Глава XI

— Твое решение оставить меня среди вас, о, Хрисанф, не встретило ли какого-нибудь неодобрения у обитателей Аполлонии?

— О, Главкос, ты еще плохо знаешь дух, господствующий на нашем острове; твое прибытие было слишком связано с чудесами, чтобы аполлонияне не поняли, что ты заслуживаешь привилегированного жребия; впрочем, даже допустив твое предположение, каждый вернулся бы к своим занятиям искусством, и никто не стал бы из любопытства тебя ни о чем спрашивать. Не правда ли, что высшей мудростью является довольство существующим счастьем? Я еще раз повторяю тебе, что согласно воле бога мы не должны стремиться ни к чему, что лежит вне нашего острова. Замкнув нас на этом острове преградой водорослей, Аполлон тем самым воспретил нам всякие попытки к познанию мира, лежащего за пределами нашей земли. Ты говоришь по-гречески, как будто ты один из нас, а мы радуемся, так как это делает тебя нашим братом; мы не стремимся знать, каким образом научился ты нашему языку; познание причины часто уничтожает ту радость, которую вызывает в нас ее действие. Будем вкушать то, что есть, не стремясь всегда и везде искать объяснений.

Так говоря, старец прогуливался со мной по песчаному берегу; справа виднелась пальмовая роща, позволяя проникнуть взору в таинственную синеву ее тенистой глубины.

Я случайно встретил сегодня старца, и так как у меня было много вопросов к нему, то я был очень рад этой случайности, дававшей мне возможность расспросить его обо всем, что удивляло меня в Аполлонии.

— Это безразличие, которое твои соотечественники проявляют по отношению ко мне, Хрисанф, не вызвано ли, между прочим, и тем, что ваша цивилизация старается уничтожить всякого рода чувство у человека?

Старец улыбнулся:

— Ты, кажется, думаешь, что нам стоит больших трудов заглушить в себе чувства! Знай, что если нашим отцам и приходилось бороться со страстями, то для нас теперь подавлять чувства и естественно и нетрудно; впрочем, если бы даже мы вздумали вернуться к давно отвергнутым заблуждениям, наш разум в достаточной мере охранял бы нас; я догадываюсь, что в твоей стране даже и наивысшие люди, как ты, например, не сумели еще вполне преодолеть власть сердца; и однако, если ты поразмыслишь немного, ты согласишься, что чувства принижают человека и ограничивают область его ума и воли.

Хрисанф говорил медленно и отчетливо; машинально двигая руками, он скандировал свои фразы, как бы желая глубоко внедрить их в меня; его лицо постепенно воодушевлялось; по временам искорки пробегали в его глазах. Я чувствовал, что предо мной человек всецело убежденный, апостол этой чисто умственной культуры, которая так была прославлена в Аполлонии.

Он продолжал:

— Эта способность к движениям сердца, которую философы называют чувствительностью, причиняет нам больше страданий, чем наслаждений; можно даже поставить вопрос, доставляет ли она вообще наслаждение; и я отвечаю: нет, так как радость, которую мы можем вкусить при помощи нашей чувствительности, скоропреходяща; она сейчас же потухает, как только в нас возникает мысль, что наслаждение быстротечно. Ты мне можешь сказать, что это приложимо не ко всякому наслаждению; это правильно, но, подавляя чувствительность, мы ограничиваем поводы для страданий; наши чувства, когда их роль не преувеличена, может быть, по существу своему и не являются губительными, но можно ли надеяться, что по своему произволу мы сможем их дисциплинировать? Они не поддаются нашему контролю, принимают опасные размеры и могут нас увлечь в ужасные безумства; о них можно сказать то же, что повествует поэт о горячей лошади, сбросившей и убившей своего хозяина; не лучше ли вовсе не иметь лошади и избежать всякой возможности такой опасности?

Он замолк, и я также молчал несколько мгновений, размышляя об этом своеобразном принципе, казавшемся таким парадоксальным. Я, однако, сознавал, что проведение этого принципа в жизнь возможно только при наличии таких необычайных условий существования, как на этом острове.

— Разумеется, — сказал я, — ты рассуждаешь не без оснований, но достичь подавления чувств возможно только постепенно в длинном ряде поколений; мои соотечественники еще далеки от этого; но вот что меня изумляет: в вас сохранилась эта склонность к Прекрасному, этот культ эстетических наслаждений, который рождается именно из способности к чувству.

— Заблуждение! заблуждение! — скандировал Хрисанф. — Ты подошел к вопросу, который в свое время расколол аполлонийцев на два лагеря. В те времена, как еще шла борьба с сердцем, один из наших величайших эстетов и философов Арестан доказал, что истинно прекрасное связано единственно с мозгом; его доказательство явилось решающим для объединения всех аполлонийцев в борьбе с чувством.

По мере того, как он говорил, мои убеждения стали еще более определенными; я был слишком чужд этим людям, чтобы принять их концепцию искусства; я слишком страстно культивировал в себе эмоциональность, чтобы отказаться от нее; она, конечно, была источником слабостей, но также и источником радостей. Я продолжал расспрашивать Хрисанфа, главным образом, желая узнать точнее образ мыслей аполлонийцев.

— Но возможно ли, Хрисанф, чтобы вы убили до конца всякую чувственность? Мне кажется это очень трудным, так как чувственность, по-моему, еще менее, чем эмоция, поддается воздействию воли.

— Нет, Главкос, ты не имеешь понятия о том, насколько расширяется область применения воли, когда она действует в дружбе с разумом. Едва ли нужны длинные доказательства для того, чтобы видеть, как низко и неэстетично все, что создано при господстве чувств. Недисциплинирован-

ные вожделения ослабляют разум. Не правда ли, что именно неразвитым существам, неспособным управлять своими инстинктами, свойственно повиноваться вожделениям? Разве приятно видеть лицо того, кто рабски отдается всему животному? Будь уверен, Главкос, что всякая чувственность уничтожена в глубине каждого из нас.

Мы подошли к маленькой бухточке, где несколько юных аполлониянок наслаждались утренним купанием. Хрисанф остановился и указал мне на купающихся.

— Смотри, — сказал он, — как они прекрасны! Думаешь ли ты, что у них сохранилась бы грация, то же благородное отсутствие стыдливости, если бы не были мертвы их чувства? Они прекрасны только потому, что ничто низкое и грязное не омрачает их чистоты. В их бирюзовых глазах кристальная ясность ручья и никакая грязная мысль не затуманит ясного блеска их глаз.

В то время, как он говорил, светлокудрые nereиды продолжали свои увлекательные забавы; гармонично скользили по волнам их перламутровые тела, с чарующим смехом они предавались невинно-сладострастным забавам, причем формы их обрисовывались со смущающей отчетливостью. Слова Хрисанфа еще звучали в моих ушах, тем не менее я чувствовал, что пламя вожделения загорелось в моем сердце, — и я полузакрыв глаза.

Старец обернулся, посмотрел на меня и хлопнул меня по плечу с насмешливой улыбкой.

— Главкос, — сказал он, — я вижу, что все, что я сказал, еще чуждо тебе; возможно ли, чтобы существо столь утонченное оставалось в подчинении у такого «варварства»?

Я смутился от того, что он угадал мои чувства, и, повернувшись, увлек за собой своего спутника.

— Ты прав, — сказал я, — моя цивилизация в этом отношении настолько отличается от вашей, что я даже не могу понять, как могло удасться вам поработить этот инстинкт, от которого только что помимо моей воли взволновалось мое тело.

— Не кори себя, Главкос, такие ощущения понятны в тебе; не так еще давно я мог быть подвержен их власти. Мне

вспоминается, что во времена моей юности старцы рассказывали о борьбе, которую должны были вести люди против последних приступов любовных вожделений, отказывавшихся умереть; было одно обстоятельство, содействовавшее успеху этой борьбы: физическое ослабление нашего племени. Если ты обратишь внимание на наши хрупкие тела, наши атрофированные мускулы, нашу анемичную кровь, то поймешь, насколько легче было нашему разуму восторжествовать над ослабленным врагом. То же самое у наших женщин: уже давно девственность их не волнует возмущенная луна; весенние ветры не наполняют больше их слабую грудь беспокойной тоской, которая заставляла рыдать древних нимф в лесных чащах! Иногда я даже начинаю бояться, что это физическое ослабление повлечет вскоре исчезновение всего нашего народа. Как я уже говорил тебе, нас не более сотни: никакой чужеземный приток не обновляет нашей расы, а наша пища, исключительно растительная, тоже может способствовать ослаблению нашей жизнеспособности. Барьер из водорослей мешает появлению у нас животных; на Аполлонии имеются только пчелы; первоначально несколько ульев было привезено в Аполлонию нашими предками; пчелы нам доставляют сладкий, благоухающий мед, а мы относимся к ним почти как к себе подобным.

И Хрисанф указал мне пальцем на естественный улей в дупле дерева, я рассеянно взглянул на него; жизнь аполлонийцев мне казалась еще более удивительной.

— Если верно все то, что ты сказал мне, Хрисанф, то каким же образом еще не прекратилась жизнь в Аполлонии? При таких условиях весь человеческий род должен был бы давно исчезнуть.

Старец растянулся на пышном дерне под деревом и пригласил меня последовать его примеру.

— Ты касаешься теперь вопроса, который возбудил в прежнее время чрезвычайно горячие споры среди наших философов; в ту эпоху физическое вырождение далеко еще не было так заметно, как теперь, но признаки усиливающейся слабости от поколения к поколению уже начинали

волновать наших ученых, которые первые забили тревогу. Знаменитый врач, по имени Поликрат, созвал совет старцев и высказал свои опасения за будущее; он доказывал, что если все будет идти и дальше в том же направлении, то станет под вопросом и самое существование колонии. Он считал необходимым ввести новый жизненный элемент, чтобы затормозить наступающее одряхление нашего племени. Собрание задало ему вопрос, какое же лекарство он рекомендует. Тогда-то и изложил Поликрат свою теорию; только применяя ее, по его словам, можно было задержать исчезновение жизненного начала у аполлонийцев. Его выводы возмутили присутствовавших, недостаточно просвещенных в то время, когда чувство еще господствовало над разумом. «Нужно забыть интересы отдельного существа, — говорил он, — когда вопрос идет о спасении массы; ложное представление о человеческой жизни может привести к гибели этой жизни, и, сохраняя жизнь немногих, можно довести до уничтожения всю расу. Следует пожертвовать наиболее слабыми, чтобы их тело вдохнуло новую энергию в анемичную жизнь остальных! Смерть, таким образом, возродит жизнь». Большинством голосов собрание отвергло предложение Поликрата, современники подвергли его жестокой критике и смешали его имя с грязью. Время шло; Поликрат умер; союзы становились все менее и менее плодотворны, физические силы людей все шли на убыль, — тогда вспомнили об отвергнутом Поликрате. Но другой врач указал, что такие жертвы бесполезны; они не введут в организм никакого нового жизненного начала, так как тело жертв не будет содержать никаких других питательных веществ, кроме тех, которые и так уже имеются в пище колонии. Тогда весь народ, в своем полном составе, подавленный грядущей опасностью, обратился с мольбой к богу. В продолжение многих месяцев, на алтарях курились благовоения и возносились к небесам моления. И вот однажды, во время захода солнца, мы заметили на море странную трирему; водоросли опутали ее своей сетью, а подводное течение неудержимо толкало к нам. Никогда на памяти аполлонийцев не случалось такого события; мы поняли тогда,

что это, несомненно, рука бога, направившая трирему к берегу. Наши отцы нашли в ней странные, уже умирающие существа. Предание говорит, что это были смуглые люди, одетые в странные латы и железные шлемы. Они помещались в особой палате из выдолбленного дерева над кормой триремы. Над палатой возвышалась жердь с куском пурпурной материи с золотой каймой.

По описанию, которое сделал Хрисанф, я решил, что это была одна из каравелл шестнадцатого века, снаряженная какими-нибудь отважными товарищами Пизарро, отправившаяся в поиски за золотом и завязшая в Саргассовом море.

И в то время, как старец продолжал свою речь, неизъяснимый ужас охватил меня, я страшился, что услышу про ужасную истину, которую я уже заранее читал на бесстрастных губах престарелого аполлонийца.

— Некоторые из этих людей, — продолжал он, — уже были мертвы, другие без сознания, недвижимы; мы их перенесли на берег. Ты догадываешься, что было дальше; эти живые существа были восстанавливающей субстанцией, которую бог послал к ответ на молитвы; они были принесены в жертву на алтарях и на ритуальном торжестве аполлонийцы почерпнули новые силы из этих источников жизни...

Я невольно вскочил и отпрянул прочь, не сводя глаз со старца.

Итак, страшная тайна, услышать которую я так боялся, была раскрыта; ужасная правда звучала в моих ушах; итак — это верно. Сомнений больше быть не может; я принужден жить среди населения, которое с внешней стороны является утонченным, но на самом деле дошло до последней степени озверения. Итак, эти греки, так исключительно преданные Прекрасному, в своей кровожадности опустились до уровня людоедов. Я дрожал при мысли, что тоже мог стать их жертвой; я чувствовал инстинктивное отвращение к Хрисанфу. Вероятно, в моем лице выразилась ненависть, так как мой собеседник долгое время с изумлением смотрел на меня, потом снисходительно улыбнулся, сорвал нес-

колько цветков и, обрывая небрежно их лепестки, тихо произнес:

— Бедный Главкос! Ты все еще в этом...

Я прислонился к дереву метрах в десяти от него. Я не мог преодолеть возмущения и волнения, которые сжали мне горло. Я не мог произнести ни слова.

— Главкос, — продолжал он, — я прочел твои мысли, — ты думаешь, что мы преступны и отвратительны. Ты осуждаешь нас за поступок, который противен твоему мировоззрению, ты смотришь на нас с ужасом; ты забываешь, что надо оценивать не акт сам по себе, а причины, его вызвавшие. Мы считаем в данном случае наши действия правильными именно потому, что мы рассматривали их с высот цивилизации, превышающей твою цивилизацию; считаем эти наши действия закономерными потому, что мы руководимся только разумом и никакими другими основаниями. Поверь мне, Главкос, что варвар именно ты.

— Нет, нет, Хрисанф, это невозможно! Я не могу с тобой согласиться; еще и сейчас существуют на земле отсталые, совершенно дикие племена, они подвержены всем животным страстям, и именно так, как они, поступаете вы. Но для этих племен можно найти оправдание в их крайней неразвитости, вы же хотите доводами разума оправдать преступление. Жизнь священна, и мораль людская осуждает и карает всякое действие, направленное ко вреду для человека.

— Как мы далеки друг от друга, — снова заговорил Хрисанф, — ты сравниваешь нас с отсталыми народами, подверженными господству звериных инстинктов. Но я снова повторяю тебе, что мы действуем исключительно в свете нашего разума; это только доказывает, что наибольшее варварство и наивысшая цивилизация иногда могут приводить к одинаковым результатам, но мотивы действий, конечно, совершенно различны. Люди, которых мы принесли в жертву, — существа низшего порядка. Я считаю, что большее преступление, раз уж ты говоришь о преступлении, погубить все племя, как наше, чем лишить жизни несколько жалких созданий.

— Я понял твою мысль, Хрисанф, но она слишком возмущает все привычные устои моего мировоззрения. Мной еще владеет чувство, которое вы давно уже отвергли; надо мной тяготеет наследственная мораль, и я не могу переделывать ее в один день. В других отношениях у нас много общих взглядов, чтобы понять друг друга. В данном же случае мы непримиримо различны.

Старик-аполлониец приподнялся; в его глазах сверкал луч дружеской радости; он подошел ко мне с протянутой рукой, и моя рука невольно задрожала, прикоснувшись к его руке. Он сказал:

— При всем том, что ты мне сказал, Главкос, ты человек, достойный жить среди нас. Поверь, что настанет день, когда ты совершенно станешь нашим. Меня уже тогда не будет. Мои дни сочтены. Но в то мгновение мой прах задрожит от законной мысли, что я первый побудил тебя стряхнуть с себя варварство, которым ты еще преисполнен.

Не произнося ни слова, я покорился тому, чтобы его рука оперлась на меня, и мы медленными шагами вернулись на пляж. Солнце было близко к полдню; тяжелое благоухание померанцевых деревьев наполняло воздух. Масса водорослей Саргассова моря, казалось, светилась под отвесными лучами солнца; все, что я слышал, наполняло мою голову хаосом унылых мыслей.

А там, между мясистыми листьями алоэ, я различаю силуэт женщины. Не Тозе ли это? Да, она; при нашем приближении она исчезла, и внезапно мое сердце сжалось; я подумал, что и она тоже...

Глава XII

Прошло около десяти дней, как я попал на остров; точно я не мог бы этого сказать; беспечная и легкая жизнь Аполлонии так меня захватила, что я поддался чудесному очарованию этого существования без обязанностей, без забот, без долга. Я жил в дивном Эдеме, не заботясь о завтрашнем дне, наслаждаясь красотой, которой здесь было проникнуто все, открывая все новые красоты в живописных уголках острова.

Прошлое едва мелькало в моей памяти, и всякий раз после того я с еще большим очарованием наслаждался настоящим; все, что я покинул, казалось мне таким жалким, таким безобразным. Растянувшись в тени исполинского дерева, я вспоминал всю грязь парижской жизни; я вспоминал, как мои соотечественники стремились разрушить и обезобразить красоту природы; здесь же все, что могло построить гармонию, осуждалось, как святотатство.

Во время увлечения моего в эти дни красотой как часто бывал я совершенно ошеломлен неожиданностями. Однажды я прогуливался по западной части холма, возвышавшегося над океаном, и остановился в изумлении. Предо мной стоял человек в такой позе, как если бы он посылал вызов солнцу; он протянул навстречу светилу шар в виде грубо сделанной человеческой головы. Он весь перегнулся вперед. Мускулы его были напряжены. Он походил на античного гладиатора, победоносно размахивающего головой своего побежденного противника. Для довершения сходства в правой руке, откинутой назад, он держал что-то вроде стилета. Напряжение мысли отражалось на его лице. Подбородок от напряжения воли выдавался вперед, губы его были сжаты, глаза неподвижно устремлены в одну точку. Казалось, он боролся с невидимым существом. Я приблизился к нему. Погруженный в свои думы, он, казалось, не замечал меня. Я увидел странное произведение искусства, которое он устремил к небу. Это была голова, вылепленная

из глины, такая фантастическая, что едва ли кто-нибудь сможет себе представить что-нибудь похожее на нее. Он медленно вращал ее в своих руках. Я почти касался плеча художника и с изумлением замечал, что лицо головы, по мере вращения, постепенно выражало гамму оттенков радости и горя.

Нельзя было сказать, была ли то голова мужчины или женщины. Она была вылеплена из одной глыбы и состояла из ряда лиц, отражавших различные движения души. Мне казалось это чересчур грубым и смелым, но я не мог оторваться от созерцания ее; эта оригинальная скульптура заставляла забыть о всем материальном. Это не было горе или радость определенного человека, это была как бы идея радости и горя, взятая во всей чистоте и абстракции.

Весь трепеща, я глядел, не говоря ни слова, забыв о времени; художник также не двигался, весь погруженный в молитвенное созерцание. Внезапно я увидел, что голова рассыпалась в его руках.

Я не мог сдержаться и издал восклицание. Художник обернулся и долго смотрел на меня. Я увидел тогда, что руки его запачканы землей, и понял, что это он сам разрушил свой шедевр, которым я восхищался.

— Зачем, зачем ты сделал это? — произнес я прерывающимся голосом.

Художник продолжал молча смотреть на меня. Его неподвижный взгляд раздражал меня; я едва сдерживал свой гнев при виде этого акта бессмысленного вандализма.

— Я видел поразительное произведение искусства, которое ты, очевидно, похитил тайком; я был восхищен идеальной красотой, которая заставляла забыть про материю, я так углубился в созерцание прекрасного, что не успел остановить твой преступный удар. Я думал, что на вашем острове красота для всех священна. Кто ты, осмелившийся совершить такое святотатство?

Язвительная улыбка пробежала по его губам, и у него вырвались насмешливые слова:

— Чужестранец, я извиняю твою запальчивость, так искажившую твое лицо. Ты слишком недавно прибыл к нам,

но мне не хочется, чтобы ты продолжал думать, что я разрушил похищенный у кого-то глиняный слепок. Я своими собственными руками вылепил это произведение, которое ты назвал прекрасным, и если я уничтожил его, то только потому, что я почувствовал, что я не смогу сделать его еще более совершенным.

Эти слова показались мне безрассудными. Я решил, что предо мной стоит человек с помутившимся рассудком.

«Чрезвычайно односторонняя головная мозговая культура Аполлонии легко может нарушить умственное равновесие», — подумал я в тот момент; поэтому я продолжал разговор уже более спокойным тоном.

— Разумеется, если ты утверждаешь, то я верю, что ты творец погибшего сейчас шедевра; но я все-таки не понимаю причины, побудившей тебя его уничтожить.

Аполлонец положил мне на плечи свои руки, еще выпачканные глиной:

— Мой друг, — сказал он, — твое удивление не так уже неожиданно для меня; не только ты, но и многие другие думают так же; но мне кажется, что ты можешь достигнуть более глубокого восприятия искусства; вот почему я хочу ознакомить тебя с теорией, сторонником которой я являюсь, и которая, как я думаю, дает наиболее совершенную концепцию Эстетики.

Я с удивлением слушал его и начинал думать, что мое предположение о его безумии было, пожалуй, слишком скороспелым.

— Полагаю, — продолжал он, — что ты согласен с тем, что для идеи Прекрасного существенно то, что каждый вкладывает в нее субъективно различное содержание; полагаю, это ясно и без длинных доказательств; достаточно отдать себе отчет в том, что мы находимся в разных точках пути, ведущего к Идеальному, и, как следствие этого, в каждый данный момент Прекрасное имеет для нас разный смысл, смотря по тому, на каком месте этой дороги мы находимся. Это несколько не умаляет эстетической ценности Прекрасного, но, вместе с тем, это показывает, что Прекрасное у каждого свое, а поэтому важна только та радость, которую

художник получает, отыскивая свое собственное Прекрасное. В этом искании Прекрасного можно различить три момента. В первый момент, — называю его инкубационным, — наш ум, полный надежд и энтузиазма, выковывает грезу, которую он мечтает вложить в материю; этот момент полон молодости и пылкости; мы все наши мысли сосредоточиваем на нашей грезе, мы идем, но обращая на это внимания, с глазами, устремленными в небо, забывая о прошлых неудачах; мы верим в самих себя; мы чувствуем, что в нашем мозгу живет уже наше произведение, обещая нам величайшее очарование. Затем наступает мучительный момент рождения — это борьба духа и материи; грезу, которую мы несем в себе самих, нужно вложить в инертную массу; из всех трех моментов этот наиболее исполнен скорби и ужаса — во всем внешнем мире для нас существует только безжизненная и неподатливая глина, которой мы хотим дать жизнь, вдохнуть в нее нашу грезу. И вот художник работает, забывая о потребностях своего тела, мускулы его напряжены, зубы стиснуты, глаза неподвижно смотрят в одну точку, он весь охвачен пламенем... вместе с тем он испытывает глубочайший восторг, радость преодоления. И вот настает день, когда художника объемлет божественный трепет; потрясенный, он созерцает свой труд; мысль проникла в материю, она господствует над ней; наша греза воплощена, работа окончена. Это и есть третий момент, момент упоения; это — радостный экстаз женщины перед сыном, которому она только что дала жизнь; и, быть может, это нечто еще более великое, так как работа художника не есть продукт сочетания двух, она есть творение одного, в своем славном одиночестве создал он ее; и, что еще более повышает ценность момента, — это самая краткость его. В самом деле, по истечении нескольких мгновений он сравнивает воплощение с идеальной грезой; очарование разрушено, исчез трепет энтузиазма, он видит, что косность материи исказила идею; его охватывает равнодушие к его жалкому творению, ум уже уносит его к новым надеждам; и в этот момент художник должен уничтожить свой несовершенный труд, если он не хочет поддаться чувству от-

вращения, которое готово охватить его и которое стыдом будет тяготеть над его мыслью во время нового зачатия. Вот почему сейчас ты видел, как я уничтожил этот хрупкий слепок.

В молчании я слушал, как этот энтузиаст излагал свою теорию о художественном творчестве. Этот человек, которого я только что считал безумным, невольно увлекал меня своей утонченной и проникновенной диалектикой. Казалось, он излучал что-то пленяющее; его странные выводы приятно ласкали мою душу утонченного дилетанта.

— Извини меня, — сказал я, — я тебя не знал и оскорбил. Это равнодушие и даже отвращение, о котором ты говоришь, я его некогда сам испытывал, когда увлекался литературным творчеством. Но не думаешь ли ты, что было бы уже неправильным уничтожить и те произведения искусства, в которых почти полностью нашла свое воплощение идеальная греза; они восхищают других людей, делая их причастными к идеалу, о котором они и не подозревали.

Скульптор пожал плечами.

— Что за дело до этого творцу? Прекрасное имеет цель в себе самом; оно не должно быть связано с удовлетворением какой-либо потребности, и мы вовсе не должны рассматривать его, как средство для чего-нибудь; это значило бы унижить Прекрасное, сделать его мелким; использование его для какой бы то ни было цели является преступным. А то восхищение, о котором ты упоминал, содействовало бы только тому, что искусство превратилось бы в своего рода изучающий аппарат для развития этики.

Я замолчал, размышляя о горделивом презрении, которое выражал этот ацоллонец ко всяким попыткам утилизировать Прекрасное.

Мы медленно спускались по склону холма, направляясь к Некрополю.

Дорога шла вдоль горного хребта; далеко внизу виднелось мрачное море темной листвы померанцевой рощи, далее тянулись необъятные луга, переливаясь опалами под закатными лучами солнца, и только наши быстрые шаги нарушали окружающую нас тишину.

Вдруг мой спутник остановился. Нам навстречу шел неровной походкой высокий человек: его движения были лишены изящества, тело его было худо и угловато. Он возбужденно обратился к скульптору:

— Пануклес, ты порадуешься вместе со мной: мне кажется, что я нашел мой заход солнца! Уже тридцать лун, как я работаю над ним, не достигая задуманного совершенства, и вот теперь минута вдохновения вознаградила меня за весь мой труд. Пануклес, порадуйся вместе со мной!

Он говорил отрывисто, каждое свое слово сопровождая жестикულიцией, размахивая руками, подобно птице, машущей крыльями.

Скульптор дружески похлопал его по плечу.

— Я радуюсь с тобой, Деунистон. Я не прошу тебя показать мне картину, так как знаю, что ты разделяешь мои теории: ты тоже считаешь, что показывать шедевр, чтобы получить одобрение других, значит унижить его; радость, которую ты испытываешь, в достаточной мере вознаграждает тебя. Но, может быть, Главкос захочет убедиться, до какого совершенства дошла живопись в Аполлонии?

Я с радостью принял предложение. Мне было очень интересно знать, соответствует ли идеал Деунистона в живописи идеалу Пануклеса в скульптуре.

Мы уселись на краю дороги, и живописец протянул нам восковую пластинку, на которой был начерчен ряд странных линий, несколько напоминающих геометрические фигуры. С самого начала я был поражен отсутствием красок: на желтом фоне воска были видны только черные линии. Я молча смотрел, стараясь понять суть картины. Надо сказать, что я привык к смелости кубистов, и Фрика посвятил меня во все тонкости символической школы, но Пикассо, Манте и даже сам Фрика едва ли уразумели бы больше меня в этом странном сочетании линий, кругов и точек.

Пануклес с улыбкой смотрел на меня.

— Я вижу, — сказал он, — что заход солнца Деунистона тебя еще больше смутил, чем моя концепция скульптуры. Очевидно, в твоей стране живопись не достигла такой сте-

пени совершенства. Хочешь, Деунистон изложит тебе наши воззрения на живопись?

— Конечно, — ответил я, — я смиренно сознаюсь, что нахожусь в полном недоумении перед этой работой, которая ничем не напоминает привычных мне цветных картин.

— Ну, конечно, — воскликнул Деунистон, — я понимаю, что ты не можешь постичь моей живописи, раз у вас еще пользуются красками. Уже давно живописное искусство в Аполлонии освободилось от этих атрибутов варварства, применяемых для того, чтобы затруднить понимание и ложью обольстить воображение. Полагаю, ты не думаешь, что искусство в точности должно воспроизводить внешний мир? Настоящая работа художника начинается только тогда, когда он достаточно отрешился от внешних условий, чтобы преобразить природу. Ты удивился, что на моей картине нет красок, но мы воспроизводим не цвета, а впечатление, производимое цветами на художника. Я соглашусь с тобой, что это очень условно, но в том, что существует, нет ничего, кроме условного. Нужна только небольшая тренировка, ничтожная работа, чтобы научиться воспринимать необъятный простор, который эта теория открывает живописи; все становится доступным живописному изображению, самые способы изображения изменяются до бесконечности в зависимости от лица, их применяющего.

Он замолк, а я все оставался ошеломленным и вертел в руках странный «закат солнца». Пануклес весело взял меня под руку и повел к Некрополю, а Деунистон иронически посмотрел нам вслед.

— Главкос, Главкос, — проговорил Пануклес, — нельзя, конечно, требовать от тебя, чтобы ты в один день проник в тайну пластики и живописи в Аполлонии. Твой разум едва лишь начал приспособляться к новым горизонтам. Ты, конечно, не можешь сразу освоиться с тем, что явилось результатом упорной работы нашего народа. Когда ты ближе познакомишься с нашей эстетикой, ты яснее поймешь «математическое прекрасное». Чтобы расширить свое образование, приходи завтра в Некрополь, — я познакомлю тебя с

самым великим музыкантом, какого когда-либо знала Аполлония.

Прошло несколько дней.

Я лучше стал понимать все величие формулы отрешения художника от внешних условий. Эта концепция давала ему новую почву вместо прежней, такой избитой: я был очарован смелостью новых приемов. С каждым днем я понимал все больше и больше, предо мной открывались все новые и новые перспективы, восхищавшие и чаровавшие меня. Это возрождение охватывало все искусства; музыканты Аполлонии творили, руководясь той же формулой. Я познакомился с великим маэстро, о котором мне говорил Пануклес, и долго беседовал с ним. Как и в живописи, композитор стремился звуками передать ряд мозговых реакций, испытанных им во время вдохновения. По его мнению, музыка долго бродила в потемках под губительным влиянием внешних чувств и внутренних эмоций. Он полагал, что это происходило от слишком большого числа звуков, которые, благодаря своему разнообразию, затемняли идею. Музыка действовала чарующе на чувства в ущерб мысли, которая усыплялась в это время.

Чтобы избежать этой опасности, он считал необходимым в каждой музыкальной пьесе пользоваться только одной нотой, чтобы вся мысль артиста передавалась лишь посредством большей или меньшей интенсивности звука и паузами более или менее короткими или длинными. Признаюсь, что такая музыка требовала совершенно особого музыкального образования и что при первых опытах я получил от нее мало удовольствия. Он поочередно пользовался двумя инструментами — флейтой с одним клапаном и однострунной арфой. Впрочем, у него была подобрана вся гамма этих инструментов, чтобы иметь возможность сосредоточиться на ноте, наиболее соответствующей его мысли. Разумеется, композитор ничего никогда не записывал — соответственно взглядам аполлонийцев, что всякое произведение искусства должно быть уничтожено тотчас после своего создания.

Вот почему наиболее совершенным искусством аполлонийцы почитают хореографию, так как в ней — наибольшая возможность разнообразия движений, и произведение искусства само собой исчезает после своего создания. Тут также господствует идея, нет ничего чувственного, ничего чувствительного, ничего действующего на воображение.

В развалинах Некрополя однажды вечером я видел Филию, танцовщицу, творящую в пантомиме «Изыскание абсолютного». Совершенно нагая вышла она из морских волн. С простертыми вперед руками, сосредоточенно устремив взгляд в небо, она подходила к нам колеблющейся походкой. Она была накрашена не для того, чтобы усилить природный блеск своей красоты, но чтобы передать эту красоту в отвлечении, по принципу, что «Красота идеального» начинается там, где кончается природа. И, действительно, ее волосы были посыпаны зеленой пудрой, ее брови соединены в одну синюю линию, образуя на лбу задумчивую складку; два резких квадрата резко выделяли возвышенности щек; ее уши были окаймлены оливковой краской, что давало впечатление большой продвинутости вперед параллельных плоскостей ее лица; сосцы ее грудей были окрашены голубым; от каждого ногтя шли тонкие багряные линии, сливающиеся в общий браслет на ее запястьи. Она собственно не танцевала: это были скорее раздельные па и движения; она подолгу сохраняла свои пластические позы. Было уничтожено впечатление изысканного искусства, уничтожена всякая увлекательность, это было больше не искусство — живая мысль проходила передо мною и внезапно исчезла в молчании сумрачной тени померанцевой рощи.

Глава XIII

Время проходило незаметно и упоительно, дни шли за днями; каждое утро в моем сердце зацветала та же восторженная улыбка, что и накануне. Я ничего не делал, но душа моя еще не томила от скуки; прежние мои заботы меня теперь совершенно не интересовали. Я отыскивал своего «Икара». Он находился около пещеры на северной стороне острова к западу от Некрополя. При виде его мое сердце не забилося сильнее от воспоминаний о мучениях в Саргассовом море; меня не волновало никакое сожаление о том, что оставил я там, за океаном. Я даже с любопытством дилетанта старался проанализировать свои чувства. Я вспоминал Париж, моих друзей, мои занятия, — ничто не встречало во мне ответного отклика. Все это было слишком далеко от того, что я теперь переживал. Я даже уловил в моей индифферентности к прошлому некоторую долю досады; тридцать семь лет я развивал свою личность, закалял ее суровыми лишениями, придавал ей лоск цивилизации, которую я считал совершенной, утончая свой дух общением с культурными умами своего времени. Все тридцать семь лет вдруг свелись на нет, уничтожившись несколькими неделями жизни в очаровательной Аполлонии!

Я так мало интересовался прошлым, что даже не позаботился исследовать, в каком состоянии находится мой «Икар», остававшийся заброшенным недель девять или десять... Но все-таки минувшее, должно быть, не умерло в моей памяти: хотя и машинально, но я нашел дорогу к маленькой бухте, куда причалил мой гидроплан. Как противоречива натура человека! Я осторожно шел по пляжу, на котором кое-где выступали базальтовые глыбы; недалеко от берега находился риф, который во время отлива отделялся от острова только маленьким каналом, не шире ста метров. Около рифа, перед огромной неподвижной гладью Саргассова моря, ютилась наполовину скрытая бухта, в которую и причалил мой гидроплан. Я задал самому себе

вопрос, что могло направить его в это убежище, и решил, что его принесло подводное течение, так как около него повсюду плавали в воде какие-то посторонние обломки.

Я вошел в воду канала, — она доходила мне только до колен, — и через несколько минут достиг рифа; полоса песку, шириной в несколько метров, давала возможность добраться до бухты, довольно глубоко вдававшейся в скалу со сводом, возвышающимся на пять или шесть метров над водой. У моего гидроплана оказался прекрасный ангар.

Я добрался до места, куда в памятный день причалил с гидропланом; аппарат находился в двадцати метрах от меня. В полумраке его белый силуэт ясно выделялся на темном фоне стен грота. В темно-синих, почти черных водах искаженно отражались в плещущей воде его крылья. Здесь должно было быть глубоко.

Бока пещеры вдавались в море, и я мог добраться до «Икара» только вплавь. Это меня, впрочем, не пугало; еще в довоенные годы я пытался, хотя и неудачно, переплыть Ламанш. Вода была холодная, но я держался хорошо и в несколько взмахов достиг гидроплана.

К поплавам его пришлось добираться очень осторожно, так как кругом плавали разнообразные обломки досок, ящиков, бочек, которые почему-то занесло морем к этому месту. Были ли это обломки кораблей, прибитые к берегу Аполлонии, или их занесло сюда с судов, погибших в Атлантическом океане, и они приплыли среди саргассов, как «Икар», увлеченные через водоросли подводным течением?

Вот бочка с полуистертыми буквами. Все-таки можно восстановить подпись: «Мария Небесная». Эти два слова пробудили в моей памяти воспоминание о таинственном происшествии в океане, которым были так заинтересованы лет пятьдесят тому назад газеты всего мира. Не бочка ли это с судна, найденного среди океана в совершенной исправности и почему-то покинутого своим экипажем?.. Ну, да, в конце концов, мне это не важно, я уже не принадлежу к тому миру с его дрянной цивилизацией.

Я добрался до поплавков, они были в хорошем состоянии. Я вскарабкался по стойкам до кузова, вспоминая,

как я уже проделал это же самое в пустынном Саргассовом море, когда убедился, что я погиб, завяз в водорослях. Я перешагнул через борт, и первое, что бросилось мне в глаза, был мой кожаный костюм авиатора, брошенный на сиденье. Я поднял его... От сырости кожа стала тугая и неприятно трещала в моих руках.

Под скамейкой лежала моя остальная одежда, шлем и очки.

Я уселся и внезапно, как бы вернувшись к своему прошлому, я закрыл глаза, начал скользить руками по борту; мои пальцы нащупали кончик рукава. Подняв руки над головой, я нащупывал стенки резервуара. Инстинктивным движением я стучу по металлу; слышится глухой звук, — значит бензин еще есть; стоит лишь захотеть, и...

Я открываю глаза. Там, в нескольких километрах, за блестящей поверхностью полосы воды виден бирюзовый ковер трав, уходящий в беспредельную даль. Я насмешливо рассмеялся. Как! Достаточно дотронуться до нескольких предметов, представить себе возможность отлета, чтобы снова отдаться приманкам своей прежней жизни? Жалкий человеческий дух! Никогда он не удовлетворен, всегда мечтает о чем-то лучшем. Как я понимаю мудрые рассуждения престарелого Хрисанфа, благодарного богу за то, что Аполлония окружена непроницаемым барьером трав и потому ее обитателям чуждо желание бросить остров.

Не безумие ли думать, что можно лететь на этом аппарате, уже несколько месяцев брошенном на произвол судьбы? Все должно было заржаветь, помяться. Эта мысль мне была неприятна: я поинтересовался исследовать, в каком состоянии находится мотор; я снял чехлы, которые в свое время сконструировал, чтобы предохранить все части механизма от морской сырости. Мое тщеславие было удовлетворено, сердце забилося от волнения при виде блестящей стали и хорошо промасленных клапанов; бензин поступал в карбюратор правильно, только магнетометр находился в плачевном состоянии: толстый слой серо-зеленой плесени покрыл коллектор, молоточки не действова-

ли, уши тоже уже годились. Очевидно, что аппарат навсегда был обречен на неподвижность.

Как-никак, это меня огорчало. Над «Икаром» я работал два года. Сколько ночей бодрствовал я из-за него! Сколько произвел вычислений! С отцовской радостью наблюдал я за его рождением. В моих руках он в первый раз пробудился к жизни; с этим аппаратом у меня было связано столько страданий, он так живо напоминал мне прошлое, для меня была слишком горька мысль, что стихии сравнивали его с другими обломками, плавающими в гроте.

Машинально взял я бюретку и смазал маслом аппарат; привел в медленное движение пропеллер; клапаны начали действовать.

.....

Я поплыл назад и, остановившись на песчаной насыпи, долго смотрел на мой гидроплан в его природном ангаре. Я еще не был до конца аполлонийцем, я чувствовал, что во время отлива я еще раз вернусь сюда взглянуть на мою птицу в ее базальтовом гнезде. Усевшись на месте летчика, не раз я буду мечтать о прошлых годах, казавшихся мне такими далекими, что, если бы глаза мои не видели гидроплана, я сомневался бы, не грезы ли все мои воспоминания.

.....

Пахнуло теплым ветром. Я лежал на опушке померанцевой рощи; в синеве моря вырисовывался черным пятном риф; с глухим рокотом разбивались волны морского прибоя о скалы побережья.

В этот час морской прилив создал между мной и «Икаром» водяную преграду. Как капризно наше воображение! Теперь мне казалось, что этого достаточно, чтобы изгнать из моей головы воспоминания о прошлом. Аполлония снова обрела меня, как только я сделал несколько шагов по ее берегу.

Я чувствовал себя усталым, — я только что затратил много физических усилий, а в последнее время я отвык от мускульной работы. С наслаждением я растянулся на траве в нескольких метрах от аллеи могил и погрузился в полубезыбие; пряные запахи тропической листвы опьянили меня. Жужжание пчел, собирающих мед, усыпляло меня однотонностью звуков; солнечный луч, проскользнувший сквозь листву, маленькими зайчиками танцевал близ меня, как золотое пятно на изумрудном лугу; можно было подумать, что это фантастическая бабочка порхает по стебелькам трав, не сгибая их; я следил глазами за всеми его эволюциями. Оно приближалось ко мне, и вдруг оно необычайно выросло: чешуйчатое тело вытянулось, согнулось, приняло очертание женской фигуры; крылья сузились, превратились в две длинные белые руки, очень стройные, очень тонкие... Это женщина, — лица ее я еще не вижу, — она мелькает между стеблями трав. Но вот ее фигура отделяется от лиственной завесы, опускается ко мне. Она совсем близко; благоухающие длинные волосы щекочат мою грудь, я ее узнаю; это Тозе. И вот ее голова уже покоится на моем плече, это Тозе обвивает свои руки вокруг моей шеи; ее губы шепчут:

— Я люблю тебя, Главкос!

Что это — сон или греза? Нет, маленькая аполлонианка в самом деле здесь, я смотрю в ее глаза, сначала смущенные, потом вдруг неподвижные, доверчивые и спокойные под моим удивленным взглядом.

— Я люблю тебя, Главкос! — повторяет она вполголоса, — с того самого вечера, когда, помнишь, ты обнял меня в аллее могил... Я часто возвращаюсь к камню, где мы сидели вдвоем, я мечтаю о том, про что ты мне рассказывал: мне кажется, что твои слова еще и сейчас звучат там в

воздухе; никто не говорил со мной так. Я вся в волнении, часто я с удивлением замечаю, что хочу, чтобы ты был рядом со мной, а, между тем, в тот день, когда я заметила тебя с Хрисанфом, я убежала, сама не знаю почему; сердце мое трепетало, и в глазах выступили слезы. Главное, ты так хорошо понял мое волнение, объясни же маленькой Тозе, почему она так странно поступает?

Я приподнял с ее лица длинные волосы, за которыми она боязливо скрывалась.

— Маленькая Тозе, — сказал я, — сама того не зная, ты лучше всякого психолога сама все объяснила, когда прошептала мне о любви: твое волнение, твои сомнения, все это отражения порывов твоего сердца, трепещущего от тоски в своей любви ко мне. Не прячь своего лица, не отворачивай глаз; в твоем чувстве нет ничего недостойного, никакого повода для стыда. Перестань бояться тех далей, куда я тебя зову. Не говорила ли ты мне, что чувствуешь иногда, как необходимо тебе прислониться к дружескому плечу! А я, ведь, я уж говорил тебе, что всегда готов подержать тебя, всегда готов дать опору твоей очаровательной головке! Я тоже, моя маленькая, дорогая аполлонианка, часто вспоминаю о том чудесном вечере, когда луна осветила пас вместе своим серебряным лучом: я страдал, когда ты убегала при моем приближении; я жажду снова почувствовать твое тело у моей груди, вдыхать аромат твоих волос, потому что я люблю тебя, маленькая Тозе!

И я обнял дрожащей рукой ее плечи, ее голова спряталась у меня на груди, и я целовал ее волосы. Но конвульсивное рыдание сотрясло все мое тело. И это сердце, которое должно было забыть аполлонийские законы, я чувствовал, как безумно колотилось это сердце рядом с моей грудью. Эта маленькая взволнованная девушка подчинилась извечному инстинкту, восторжествовавшему над цепями, которые наложила на него цивилизация ее отечества.

Неужели страсть, так всецело меня охватившая, совершила чудо? Я понимал ее теперь, такую родственную греческим девам; это подруга Ифигении, Навзикаи. О, сифида гомеровских лесов! И, наклонившись к ней, я почув-

ствовал, как в моих жилах загорелось жгучее пламя извечного вожделения.

Осторожно взял я в свои руки ее склоненную голову и, приподняв, приблизил ее губы к моим. Она покорно подчинилась моему порыву, ее губы загорелись, ее руки обвили мою шею, и в первый раз статуя вышла из своего мраморного бесстрастия.

И вдруг, когда я крепче прижал ее, тело ее стало неподатливым, руки вытянулись, и, отталкивая меня, она отвернула от меня лицо:

— Нет, оставь меня, Главкос, — прошептала она, — наша привязанность уже кажется мне слабостью, недостойной нашего разума, хотя бы мы и почерпнули в ней радость глубокую. Я боюсь, что если ее осквернят бесстыдные чувства, она утратит для меня всю прелесть, которую я в ней нашла. Я потрясена тем, что ты пробудил во мне, я не подозревала о существовании такой чувственности, наше племя смотрит на нее, как на извращенность, глубокое отвращение охватывает меня уже при одной мысли, что я могла бы поддаться ей; не будем принижать себя, отдаваясь во власть позорящей нас страсти; нет, оставь меня, Главкос, оставь!

С бесконечной нежностью пытался я согнуть ее руки, которые напряглись, чтобы оттолкнуть мои плечи.

— Тозе, дитя мое, милая, неужели тебе неприятно то, что ты открыла в себе самой? Подумай что именно я открыл тебе непреложный лик твоей души, остававшийся в тебе неизвестным. Верь же мне! Все, что ты вообразила себе, все это пустые призраки, и я мечтаю освободить тебя от суеверий боязни любви... Ее навязала тебе преувеличенно головная культура твоего отечества.

Ласки мои не достигали цели. Она непреклонно отталкивала меня своими напряженными руками; она была воплощением отрицания. Качая головой, она с мольбой повторяла:

— Нет, оставь меня, Главкос, оставь меня!

Были ли то кокетство или стыдливость, — как бы то ни было, ее сопротивление разжигало мою страсть, и я старался

ся насильно прильнуть к ее губам. Она слабо вскрикнула, и в моих объятиях оказалось безжизненное тело; эта слабость протрезвила меня. Из ее глаз катились крупные слезы. Я помог ей подняться. Она стояла неподвижно, не решаясь взглянуть на меня, я чувствовал себя в самом нелепом положении, меня внезапно охватил гнев, и я закричал ей:

— Уйди, Тозе, я думал, что ты можешь понять красоту любви, но твой мозг слишком изуродован нелепыми аполлонийскими обычаями; я уже надеялся, что когда-нибудь ты сумеешь вкусить полную чашу наивысшего опьянения. Мы слишком чужды друг другу, уходи, я тебя ненавижу!

Она осталась на месте, как статуя, с опущенными глазами, полузакрытая своими длинными, распущенными волосами: сдавленные рыдания душили ее, и не она, а я удалился, ушел, не оглядываясь на нее.

Глава XIV

Смеркалось. Я лежал на краю маленького озера под тенью пальм и рассеянным взглядом следил за полетом пчел, не обращая внимания на живописную группу запоздавших купальщиц; я не мог забыть о стройной женщине; еще так недавно вдыхал я аромат ее волос, восхищался опаловой бледностью ее глаз, ласкал ее хрупкое тело... Снова и снова вставал предо мной, как живой, ее образ; гневом было наполнено мое сердце против этой непостижимой и жестокой женщины. Раз двадцать я клялся, что отныне стану совершенно равнодушен к ней; мучительный образ стоял неотступно.

Я не решался оформить свои чувства; не был ли я так разъярен, прежде всего, против себя самого, против своей животной страстности самца, обманутого в своих надеждах?

Запоздавшие купальщицы вышли из воды и, увенчивая себя цветами, приблизились ко мне. Одна из них осталась и спросила:

— А ты, Главнос, не пойдешь ли?

— Куда?

— На погребение Тизис, дочери Мирты.

Я поднялся. Это имя я как будто слышал; но, кроме того, мне было интересно познакомиться с погребальным ритуалом Аполлонии.

Я присоединился к ним.

— Ее жизнь закатилась сегодня вместе с солнцем; ей не пришлось горевать, сознавая, что под бременем недугов увядает ее красота. Она прекрасна, как дева, она словно улыбается природе, из которой она возникла и к которой она возвращается.

Эти слова поразили меня. Значит, греческие представления о бессмертии души преобразились в Аполлонии в пантеистическую религию? Во время пребывания моего на

острове мне еще ни разу не приходилось говорить на эту тему. Я сказал:

— Она возвратилась в природу, но ее душа разве не обрела блаженного приюта в Елисейских полях?

Женщины с улыбкой взглянули на меня.

— Ты мыслишь, Главкос, еще так, как мыслили во время Гомера: мы больше не верим в этот неизвестный Эдем, убежище избранных душ; мы считаем, что нет ни вознаграждения, ни наказания; мы изгнали из нашей жизни понятие добра и зла; мы различаем только прекрасное и безобразное. Аполлон для нас является только олицетворением идеи прекрасного; мы сами являемся частью природы; иногда нам кажется, что мы оторваны от нее, но это иллюзия, и смерть ее быстро рассеивает.

Ее слова подтвердили мои предположения. Их культ исключительно только Красоты должен был привести такой народ к пантеизму, отбросив старые греческие представления об индивидуальном бессмертии духа. Но, что меня поразило, так это та легкость, с которой молодые девушки изложили мне религиозное учение своего народа. Я недоумевал, каким образом этот народ хранил классические тексты древней Греции, и как обучалась его молодежь.

— Прежде всего, — отвечали они на мои расспросы, — нас обучают устно; дети слушают и запоминают все, что им передают старшие. Нас так мало, что всякая новая идея сейчас же становится общим достоянием. Древние тексты хранит старец, тщательно их записывая на восковых табличках. Он сохраняет также и писания древних авторов Аполлонии: Атимоса, Поликрата, Эвлакеса, а также ведет запись главных фактов существования нашего народа.

Мы подошли к пещере; около ста человек, мужчин и женщин, теснились полукругом около статуи Мусажета; на камне, где когда-то лежал я в виде жертвы, лежало теперь тело, наполовину закрытое: саваном из цветов. В руках женщин колыхались пальмовые ветви, слышался треск благовоний на бронзовых треножниках. Четыре молодые девушки отошли от тела и вошли в глубину грота.

— Они, — объяснили мне мои соседи, — пошли принести огонь, который мы постоянно поддерживаем на священном очаге.

Они вскоре вернулись, неся четыре пылающих факела; в этот момент восемь эфебов приблизились к усопшей и положили ее на носилки из листвы. Процессия направилась к аллее могил.

На берегу был приготовлен костер, на который и положили усопшую. И как раз в тот момент, когда девушки наклонили факелы, чтобы зажечь костер, какая-то женщина издала вопль и, несмотря на недовольство окружающих, старавшихся ее отстранить, бросилась к костру, приподняла голову покойной и поцеловала ее.

Это была Тозе...

Кругом слышался возмущенный ропот; я вспомнил, что во время нашей первой встречи Тозе говорила мне, что она дочь Тизис. Вопреки мнению окружающих, мне казалось совершенно естественным, чтобы дочь выразила свою скорбь и любовь к покойной матери.

Не рассуждая, я подошел к ней, взял ее за руку и увел от костра. Огонь вспыхнул, не было ни малейшего дуновения ветра, белый столб дыма поднимался вертикально кверху; от благовонных ветвей на костре разносилось пряное благоухание. Хрисанф заговорил. До меня долетали обрывки фраз.

— Вечное творение... душа... она будет жить среди нас... неизменная красота природы... восхитительная нечувствительность вещей... ложное и предосудительное чувство, понижающее величие духа ...

Я догадался, что он выражает порицание непосредственному порыву девушки; она, как безумная, рыдала у подножья одного из памятников, закрыв лицо руками.

Небо потемнело; пламя костра угасало, рассеивалось. Заглушая благовоние санталового дерева, доносился одуряющий запах опаленного тела.

Толпа медленно таяла: наступала ночь. Около костра видны были четыре силуэта женщин, которым было поручено наблюдать за огнем.

Молча смотрел я на Тозе; ее щедедушное маленькое тело содрогалось, точно стремясь разбиться о погребальный камень; она казалась такой заброшенной, хрупкой, несчастной; я испытывал к ней громадную жалость. Нет, в моем сердце не умерла любовь к этой женщине, и я сознавал, что питаю к ней чувство более глубокое, более чистое, более духовное, чем простое физическое вожделение. В этот вечер я не ощущал к ней никакого чувственного влечения, меня неудержимо влекло к девушке братское сочувствие.

— Бедная, маленькая девочка, — прошептал я, — они не поняли твоих страданий; они не понимают, что твое любящее сердце разбито этой утратой; они не подозревают, что бывают натуры, для которых их законы неприемлемы. О, маленькая сестра по духу! Моя маленькая сестра по чувству! Я понимаю, как ты вся взволнована. Плачь, ничего не опасаясь, на моем плече! Не бойся никого; я буду твоим братом, твоим старшим братом, который так сострадает твоему горю.

Над поверхностью моря всходила луна. Тозе подняла бледную голову; в глазах ее сквозило беспокойство; дрожащим голосом она спросила:

— Главкос, значит, ты простил меня?

Подул теплый ветер, относя дым от костра к померанцевой роще; острый запах терпентина донесся до нее. Я наклонился к Тозе:

— Не надо больше думать об этом, моя милая; тогда я огорчил тебя, мое сердце безумствовало; теперь я чувствую, что оно гораздо покойнее, благороднее и лучше; прости меня, моя милая Тозе!

Тозе, разбитая усталостью и горем, задремала на моем плече. Моя маленькая девочка никогда не казалась мне такой слабенькой и жалкой.

Горизонт прорезали первые отсветы зари; от костра осталась только небольшая кучка золы; над ним курились легкие струйки дыма, расплывавшегося над морем.

Четыре фигуры у огня взяли большие пальмовые ветви и медленными ритмичными движениями развеивали пепел, который ветер уносил белым облаком к морю.

Начинался прилив; к вечеру море отойдет обратно, сгладив всякий след пепелища. То немногое, что оставалось от Тизис, будет поглощено бесстрастной природой.

.....

Тозе продолжала дремать, прислонившись ко мне. Я не двигался, боясь нарушить ее сон. Пусть ей будет казаться, когда она откроет глаза, что она видела страшный сон.

Глава XV

Необычайный шум доносился с берега. Я поспешил взобраться на прибрежный утес, чтобы узнать причину волнения. В предрассветной полутьме я заметил группу аполлонийцев, столпившихся на берегу; другие спешили отовсюду к ним присоединиться. Они всматривались в даль моря, усиленно жестикулируя; белесоватый туман застилал горизонт и мешал мне рассмотреть, что их так волновало. Я прислушивался к словам, которые порой выделялись из общего гула. Очевидно, на море происходило что-то необычайное, но я не понимал, что именно.

Наконец, я стал различать в тумане что-то черное; это было похоже на остов корабля. Толпа волновалась все больше и больше; до меня доносился гимн Аполлону.

— Слава тебе, Аполлон Мусагет! Слава тебе, о, бог-покровитель! Ты ведешь к нам долгожданный корабль; благодаря твоей помощи возрастут наши силы. Животрепещущее тело будет принесено тебе в жертву на твоём алтаре. Благослови жертву ожидаемую, чтобы через смерть возродилась в нас жизнь!

Эти последние слова объяснили мне все. Я вспомнил, что когда-то я уже слышал их. Это значило, что приближался корабль, а народ ликовал при мысли, что там, на корабле, наверное, есть живые существа, которые станут их добычей.

В самом деле: туман рассеялся, и я увидел в трехстах метрах от берега небольшое судно, которое точно какой-то невидимый магнит влек к берегу. Это был точно призрак судна. Кузов был закрыт толстым слоем присосавшихся к нему водорослей, на мачтах и снастях повисли желтые и зеленые саргассы...

На палубе не видно было ни души, шепт был разорван и мрачно трещал при порывах утреннего ветра. Это было ни военное, ни торговое судно,— больше всего оно походило на увеселительную яхту. Сзади едва виднелась ма-

ленькая пушка; она почти исчезла под бирюзовой массой водорослей. Оставалось предположить, что судно завязло в водорослях, настолько оно было ими покрыто. И эта фантастическая масса, не то судно, не то скопление водорослей, неуклонно скользила по зеркалу вод к бухте. Киль его должен был скоро коснуться морского дна; и действительно, судно слегка накренилось, как какое-то умирающее апокалиптическое животное.

Мужчины и женщины с набережной бросились в воду и пытались вплавь добраться до корабля. Я тоже быстро спустился к берегу. Аполлонийцы карабкались по кузову. В свою очередь, я бросился в воду и в несколько взмахов доплыл до судна.

Мои предположения оказались правильными. Это, действительно, была роскошная яхта. Несмотря на облепившие ее саргассы, мне удалось прочесть надпись красными и золотыми буквами: «Минотавр — Буэнос-Айрес». Я взобрался на палубу. Мое сердце сильнее билось при мысли, что тут могут оказаться люди, принадлежащие тому же миру, к которому когда-то принадлежал и я. Что мне им сказать? Какие сведения получу от них я сам?

В это время я увидел шестерых аполлонийцев. Они выходили из каюты, волоча безжизненное тело довольно еще молодого человека; на нем не было верхнего платья, а только голубые саржевые панталоны, стянутые поясом. Я бросился к нему, но тотчас же отступил — это был разлагающийся труп.

Я открыл несколько кают, — ни души. Впереди через полуоткрытую дверь видна была маленькая гостиная; я вошел в нее; там лежал на диване старый матрос с лицом, искаженным страданиями. Ужасающее зловоние вынудило меня прекратить здесь розыски; я с ужасом удалился, чтобы продолжать дальше это тяжкое обследование яхты. Повсюду были одни только трупы... Моряки, очевидно, погибли от жажды. Некоторые открыли себе вены и истекли кровью, другие предпочли застрелиться. Какой-то юнга повесился в угольной камере. Из тридцати человек экипажа только двое еще дышали. Они лежали теперь на палубе, куда

их перетаскивали островитяне. Один, лет тридцати, был по сложению Геркулес. Его нашли в кочегарке. Другой — коренастый смуглый южанин, резко выраженного испанского типа. Оба были без сознания. «В таком-то состоянии был и я», — мелькнула мысль в моей голове, — «когда мой „Икар“ принесло к острову. Если пытаться их спасти, то нужно торопиться». Я оторвал буй, приподнял колосса, прикрепил к нему буй и затем с помощью веревки спустил его с судна в море; пять или шесть аполлонийцев соединенными силами поступили так же с испанцем.

Мы достигли берега. Солнце уже стояло высоко, началась жара. К изумлению аполлонийцев, я взвалил себе геркулеса на спину и перенес его в прохладную пещеру. Кругом него толпились женщины, они принесли воды, влили ему в рот несколько глотков и смачивали виски. Я оставил его, чтобы помочь перенести другого моряка.

На берегу, над предназначенным для жертвенника камнем угрожающе возвышалась статуя Мусажета.

Поглощенный спасением погибающих, я забыл о гимне, приветствовавшем прибытие «Минотавра» в бухту. Что же, неужели я вырвал моряков из рук смерти только для того, чтобы дать возможность этим новым эллинам заколоть их на жертвенном камне? Я решил протестовать, убедить аполлонийцев, как мерзки такие жертвоприношения.

Нужно было прежде всего отыскать Хрисанфа; он стоял на берегу и задумчиво глядел на разбитую яхту; предоставляя другим переносить второго моряка, я подошел к старцу.

Он обернулся при моем приближении:

— Восхищаюсь твоей удивительной силой, Главкос. Некогда наши предки были подобны тебе; а теперь посмотри, сколько аполлонийцев нужно собрать, чтобы выполнить то, что ты совершил один! Очевидно, наша исключительно головная культура содействует физическому упадку, но я тебе объяснил, что является главной причиной нашего вырождения. Сегодня настал, наконец, великий день, когда бог послал нам необходимую помощь; плоть этих людей оживит наше тело, помешает смерти уничтожить наше племя!

— Итак, Хрисанф, ты решил прикончить этих двух несчастных, которых мы только что старались всеми силами оживить?

Старец с изумлением посмотрел на меня.

— Мне помнится, — сказал он, — что я уже говорил тебе, что так ведется у нас со времен Поликрата.

Его бесстрастность была для меня нестерпима. Я едва мог сдерживать свое возмущение.

— Я не забыл, — произнес я прерывающимся голосом, — я не забыл теории, которые ты мне излагал не так давно. Пока это были только теоретические рассуждения, они меня не возмущали так, как теперь, когда приходится иметь дело с фактами. Нет, Хрисанф, вы, цивилизованные люди, не можете допустить таких варварских действий. Есть что-то отвратительное в хладнокровном убийстве себе подобно-го и ничто, никакая крайность не может этого оправдать.

Мои руки невольно сжались в кулаки. Едва сдерживаемый гнев охватил меня. Я чувствовал, что мои слова бесполезны. Действительно, Хрисанф ответил с иронической улыбкой:

— Я думал, Главкос, что ты духом приблизился к нам, но вижу, что ты еще далек, очень далек от нас. Не буду стараться тебя переубедить. Сейчас это бесполезно. Но со временем ты поймешь нас, помни только, что мы действуем так не по страсти, не по извращенности. Руководимся мы исключительно разумом. Поверь мне, тебе лучше всего на время удалиться от того места, где будут происходить ритуальные празднества; в тебе осталось еще слишком много сентиментальности, она помешает тебе владеть собой.

«Броситься на него? Убить его ударом кулака? Возможно, что я один смогу умертвить всех этих пигмеев?». Я совершенно рассвирепел и едва сдерживал себя, чтобы не прикончить Хрисанфа. Однако, как же так? Ради спасения двух я готов умертвить сотню? Я опомнился; сам я чуть не сделал того, в чем упрекал этого престарелого самодержца.

Хрисанф продолжал:

— Вспомни, что миновало несчетное число лун, а в жертву не удалось принести ни одного мореплавателя. Наши

юноши и молодые люди не видали жертвоприношений. Помню, как я был охвачен радостной дрожью, когда ты попал к нам и Аполлон сжалился над своим народом. Я долго колебался, прежде, чем отменил твое закляние; я вопрошал самого себя, не содействую ли я смерти Аполлонии, сохраняя твою жизнь. Теперь бог показал, что он одобрил меня, послав нам эти два полуживых существа: принеся их в жертву, мы тем самым бесконечно продлим нашу жизнь...

Я не слушал больше. Как молния в моей голове мелькнула мысль: «эти люди не умрут!». Мне припомнились вдруг два лица Сандо и Жозефина, моего механика. Во время речи Хрисанфа я размышлял, нельзя ли воспользоваться «Икаром», чтобы спасти моряков с «Минотавра». Но лететь на «Икаре» было нельзя: магнитометр был совершенно испорчен. И вот мне вспомнилась картина прошлого: Жозефин и Сандо наклонились над аппаратом, Сандо передает мне маленький герметически закупоренный ящичек. В то время, как я прячу его в сундук, он говорит: «Не забудь, Франсуа, про запасной магнитометр. За эту коробочку тебе нечего бояться, она может хоть месяц пролежать на дне моря и все-таки магнитометр сохранится».

Как безумный, я бросился бежать. Хрисанф с изумлением остановился на полуслове, но я уже не обращал на него внимания. Я направился к рифу; в сундуке «Икара» я торопился поскорей найти маленький деревянный ящик — это было единственное, на что я мог надеяться.

.....

Ящик нашелся, стиснутый между бидоном с маслом и коробкой с инструментами. Я уселся, положил его к себе на колени и начал открывать. Мороз подирал меня по коже. Магнитометр оказался еще запаянным в цинковый футляр, и я с трудом мог извлечь его. Несомненно, что при та-

ких предосторожностях он должен быть в полной исправности. Часа два мне пришлось повозиться, чтобы поставить его на место. Я смазал маслом мотор, осмотрел трубки, по которым поступал бензин, и определил, сколько осталось его в резервуаре. Бензина оставалось только для четырехчасового перелета, но это было уже не так важно. Во всяком случае его было за глаза довольно, чтобы перелететь саргассы и оказаться в открытом море ...

Оставалось еще самое трудное: освободить «Икар» от нагромодившихся вокруг него обломков и вывести его из пещеры. Пришлось плавать кругом «Икара» и руками удалять всякие обломки. Это было очень утомительно, я весь околел и по временам принужден был отдыхать, держась за стойки гидроплана. Наконец, это было сделано. Вооружившись обломками весла, я влез в гидроплан, стал на свое сиденье и, упираясь импровизированным багром в бока и в потолок пещеры, начал передвигать свой аппарат к выходу.

Мои мускулы уже отвыкли от такой напряженной работы; я обливался потом, но в конце концов добился своего: «Икар» колыхался у входа в бухточку. Я отыскал прочную веревку и, прикрепив ее тщательно к аппарату, вернулся на пляж.

Среди обломков я нашел маленький брусочек, с чрезвычайным трудом укрепил его в трещине и привязал к нему веревку. Оставалось только убедиться, действует ли мотор. К сожалению, нельзя было для пробы пустить пропеллер полным ходом, так как канат был недостаточно прочен. Сильно забилося мое сердце, когда, усевшись на свое место летчика, я приготовился пустить в ход мотор... Не напрасны ли все мои старания? Не отсырел ли магнетометр, несмотря на двойную упаковку? Не попала ли вода в бензин? Радостный треск рассеял все мои опасения: «Икар» задрожал, канат натянулся. Я принужден был выключить мотор, чтобы не вырвать бруска.

Хрисанф, Хрисанф, старая цивилизация, Европа унесет из твоей варварской страны людей, осужденных тобою на смерть!

Тень от берегового утеса все удлинялась, через несколько часов наступит ночь., и надо будет перетащить сюда моряков с «Минотавра».

Завтра на рассвете «Икар» со своей тройной ношей полетит к югу...

Глава XVI

Размышляя таким образом, я поднимался по западному склону холма, откуда в первый раз оглядывал общие очертания острова. Теперь, покидая его навсегда, я хотел в последний раз взглянуть на никому неведомую землю, где так недавно еще мечтал найти идеальное счастье.

Прошли тысячелетия; две цивилизации, возникшие из одного источника, пошли разными путями; между ними разверзлась такая бездна, что никакой человек не может перейти ее в несколько месяцев, особенно если этот переход ему надо совершить в одиночестве. Это именно и случилось со мной; аполлонийцы сохранили все свои позиции, это было справедливо. Я явился к ним; мне надлежало приспособляться к ним, но это превзошло мои силы. Такая попытка могла быть осуществлена только рядом поколений. Я решил, что теперь, пожалуй, мне легче вернуться на мою прежнюю стезю, чем пытаться пойти их путем.

Моя старая стезя — это Европа, Франция, Париж, все мои прежние привычки, мои занятия, аэроклуб, моя холостая квартира на улице Полей, моя лаборатория в квартале Монтруа, мои банальные светские развлечения... Я знаю, что под ветвями дремлет маленькое голубое озеро, и в то же время я думаю об Арменовилле и его морских приливах... Какой контраст!

Дорога шла над Аллеей Могил. На минуту я остановился там, где когда-то в первый раз встретил художника Деунистона.

Деревья уже заволакивались вечерней синевой; на золотистую землю падают их длинные розоватые тени. Через несколько часов ночь своим мраком поможет мне перенести моряков, потом, на заре, на радостной свежей заре, взлетит мой «Икар»...

Несмотря на все, в глубине моего сердца шевелится не вполне осознанное беспокойство и сожаление в эти последние часы перед бегством из Аполлонии. Я стараюсь тща-

тельно исследовать причину этого сожаления. Но это не удастся. Какая-то неопределенная меланхолия охватывает меня, мне хочется скорее действовать, чтобы избавиться от нее... Мне кажется, что внутри моего существа нарастает странное раздражение против себя же самого... Я уверен, что завтра утром, когда я буду лететь на гидроплане, все это рассеется... но сейчас, здесь!..

Как мне хотелось бы уже быть в пути! Вид этой померанцевой рощи пробудил во мне образ женщины с янтарными волосами. Нет, нужно признаться себе самому, что уже давно облик Тозе занимает мои мысли. И все яснее и яснее восстает в моих мыслях твое обнаженное хрупкое тело, маленькая таинственная аполлониянка, с загадочной печальной улыбкой.

.....

Что это?!

В полумраке я вижу наверху толпу. Что делают там островитяне? До меня доносятся отголоски песен. Что они начинают? Неужели... нет, это невозможно... мои глаза галлюцинируют... я не могу поверить... то, что я вижу, меня ослепляет!..

Да, там стоит Хрисанф перед священным камнем; меч, который он держит в руках, обогрен кровью; у подножия статуи Мусагета лежат два обнаженных человека, головы запрокинуты назад, зияют красные раны на горле...

Ужас! Ужас! Я их узнал: это моряки с «Минотавра».

Две багряных струи ниспадают по белому камню и оставляют липкие, извилистые следы на влажном песке.

Я опоздал! Это племя жадных волков уже осуществило свои извращенные желания. Напрасно стараться вырвать жертвы из их когтей, они уже обращены в обескровленные трупы.

На мгновение меня охватило оцепенение, — свершилось то, что я надеялся предупредить.

Медленно погасает день, безучастный к только что совершившемуся преступлению.

Как в полусне, я вижу, как суетливо копошатся там женщины, колебля длинными, гибкими пальмовыми ветвями. Ветер развевает дым, поднимающийся от ритуальных треножников, и до меня долетает острый запах, от которого сжимается горло... Я различаю отчетливо только две красных полосы, струящиеся по земле...

Солнце, заходя за горизонт, накинуло на море красное покрывало, запятнавшее красными отсветами собравшихся на берегу бледных людей.

Все вижу я окутанным ореолом. Вот стоит «Минотавр» между берегом и морем водорослей. Как гигантская паутина, протягивает Саргассово море свои бесчисленные нити в ожидании новой добычи, которая неизбежно попадет на этот берег, где разыграется снова ужасная трагедия, а кровавое завершение ее будет здесь, на этом камне.

Этот камень, которому покровительствует статуя Аполлона, ужасный символ мировоззрения этого вырождающегося народа, совершающего самое низкое, суеверное убийство во имя разума!.. Как мог я хоть на мгновение соблазниться лживыми теориями этой цивилизации дегенератов!

Так размышлял я, застыв на месте. Торжество продолжалось; слышно было пение; до меня доносились какие-то чрезвычайно чистые и какие-то до странности тонкие голоса, и славные эллинские слова прикрывали своим величием стыд совершенного...

Яростно вспыхнул во мне гнев, все более и более охватывавший меня со вчерашнего дня. У меня явилось безумное желание сокрушить весь этот муравейник, сбросив на него базальтовые глыбы, которыми был усеян гребень холма.

Под моими усилиями начала колебаться одна из глыб, я уже слышал грохот при ее падении по склонам утеса, я видел ужас, который охватил толпу аполлонийцев. Еще

толчок плечом, и глыба начнет свой головокружительный бег...

Почему же мой гнев разрядился неожиданным странным криком и руки беспомощно протянулись к небу? Почему вдруг я начал торопливо спускаться на дорогу к Некрополю? Нужно ли было еще гуще обагрять кровью золотистый песок берега? А что, если базальтовая глыба, скатившись, раздавит и ее среди других, эту хрупкую девочку? Взгляд ее тоскливых глаз с такой отчетливостью запечатлелся в моем мозгу!

Без сомнения, мой крик привлек ее внимание!.. И теперь я бежал, как безумный, потому что, мне казалось, я слышал немой ее призыв. Я подчинился таинственным чарам, я спешил к пей, к юной аполлонианке!

Теперь я догадывался, почему я готов был согласиться с теориями этого народа, являвшегося антиподом европейцев, народа, который я ненавидел и который был до такой степени мне чужд. Тозе, извращенная и очаровательная девочка, — первое дружеское лицо, которое я увидел на этом острове! Тозе, хрупкая белокурая дева, загадочная и прекрасная, без моего ведома увлекла мою душу, смутила мой разум. В неведомых тайниках моего сердца очарование ею осенило ореолом великолепия всю жизнь Аполлонии. Я отдался этому обманчивому миражу; не сознавая того, я обольщал самого себя.

Я любил не Аполлонию, но страну Тозе... Меня приводили в волнение вовсе не рассудочные теории этого странного народа, но та культура, которой была подчинена мысль Тозе... Меня приводил в восторг не абстрактный культ Прекрасного, проповедуемый художниками, но красота Тозе...

В сущности они — варвары! Они или я?.. Не знаю! Может быть, и они, и я! И я вспомнил слова Барреса: «Я называю варварами всех, кто думает не так, как я»....

Ну, да что! Я слишком долго пробыл среди людей, не имевших ничего общего со мной. Я решил бежать от них. Я жажду вернуться к моим прежним заблуждениям...

Спускалась ночь, черная, как чернила, ни единой звезды не было видно. Стояла невыносимая духота... Я бежал

безостановочно, вытирая крупные капли пота, стекавшие по моему лбу.

Небо заволочлось тучами. Атмосфера была заряжена электричеством. Ужасная буря нависла над этим затерянным в океане уголком мира, где я вдруг почувствовал себя так ужасно одиноким! Эти фосфоресцирующие отсветы, на мгновение вспыхивающие на горизонте, являются предвестниками отдаленной, надвигающейся грозы.

Во рту у меня мучительно пересохло; нервы натянуты до крайности, они отзываются на каждую вспышку молнии. Изломанная стрела зеленоватым огнем прорезывает облако... Слышен сухой треск, словно бросают листы кровельного железа... На мгновение вдали выступает мрачный профиль утеса, где меня ожидает «Икар».

Завтра на заре мы должны были лететь втроем к цивилизованным странам; судьба сулила лететь мне одному. Ни на один день я не хочу остаться на этом проклятом острове. И все же я чувствую, что достаточно одного, чтобы остров опять мне стал дорог... Я не понимаю самого себя; я смутно сознаю, что нужно лететь отсюда, а между тем я был бы рад, если бы этому что-нибудь помешало.

Вполне ли в порядке «Икар»? Может быть, в последнюю минуту окажется какая-нибудь авария?..

Почему-то я упорно думаю о возможности задержки. К чему мне так торопиться? Ведь теперь нет необходимости лететь именно завтра. Чего я собственно хочу? Не знаю, не хочу знать... хотя это в сущности нетрудно определить. Я повинуюсь первоначальному порыву, и если ничто меня не задержит, то полечу за преграду водорослей, пока не истощится запас бензина, пока меня не втащат на какое-нибудь судно, или пока я не умру в одиночестве, посреди необозримой пустыни океана...

Что это за шорох?

Останавливаюсь, прислушиваюсь. Похоже, что кто-то идет по моим следам. Кто-нибудь ищет меня? Нет, я не хочу думать об этом, пока нет никого.

Боже! Какая тяжесть в воздухе! Меня мучит жажда, я вспоминаю, что в нескольких шагах от пальмовой рощи те-

чет ручеек. При свете молнии видна совсем поблизости светлая струйка воды. Я бросаюсь туда и жадно пью до тех пор, пока у меня не захватывает дыхание ...

Я несколько пришел в себя и быстрыми шагами направился к бухте, где меня ожидает гидроплан, покачиваясь на волнах. Молнии непрерывно следуют одна за другой, освещая все кругом бледным, призрачным светом... Гром грохочет, как пушки у Вердена... Я без труда различаю выступ базальтовой скалы, наполовину затопленной приливом... Канал, отделяющий меня от него, значительно расширился. Придется проплыть метров триста. Весь обливаясь потом, я бросаюсь в море. Дрожь пробегает по моему телу от ледяной воды... Еще несколько взмахов, и я достигаю утеса. Наконец-то! На мгновение я прислоняюсь к скале, с меня струится вода, нервы мои после всех усилий совершенно подавлены. Но там, во мраке, на другом берегу, что-то движется. Мне страстно хочется проникнуть туда. Но гроза ослепляет меня. Молнии ежесекундно прорезывают небо.

И все-таки я начинаю различать белые очертания... Не грежу ли я? Кто-то бросается в воду, я слышу всплески... Кто же может следовать за мной? Как извилистая золотая стрела, молния прорезала небо... Адские удары грома раскатистым эхом отразились от базальтовой скалы... Там, у Аллеи Могил, запылало дерево...

Что это? Крик в волнах, ночью! Удручающий, отчаянный вопль. Я, не раздумывая, бросаюсь в воду... И вот я на аполлонийском берегу с хрупким телом женщины. Оно безжизненно распростерлось среди обломков на песке... Это Тозе! Моя маленькая Тозе.

.....

Ветер яростно дует, заунывно воет среди скал. Вздвигающийся океан кидает навстречу тучам валы своих волн, в ко-

торых рассеивается небесный огонь. Непрерывные оглушительные раскаты грома. Пусть свирепствует буря и неистово хлещет дождь, — что это для того, кто опустил па колени, склонился к теплому телу женщины и пьет в поцелуях соленую влагу у ней на груди.

.....

Правда ли, что было мгновение, когда я хотел покинуть Аполлонию?

Я не могу этому поверить. Нечто бесконечно важное, беспредельно глубокое привязывает меня к этому миниатюрному миру. И то, что я так недавно считал пустым обманом, вдруг восстает передо мной и с молниеносной быстротой ниспровергает все мои доводы, и это бесконечно сильное есть не что иное, как любовь.

Тозе и я, мы идем по запутанным зарослям пальмовой рощи. Ветер затих, теплый дождик барабанит по широким листьям бананов, отдаленные молнии по временам озаряют деревья бледным феерическим светом. С тех пор, как я вынес Тозе на берег, она произнесла только одну фразу, но эта единственная фраза продолжает чарующе звучать в моем сердце: «Главкос, Главкос, зачем ты убежал, ведь я тебя люблю!».

Бежать? Нет! Я не думаю о бегстве, я даже не могу понять, откуда у меня могло возникнуть такое желание.

Мы идем, и она прижимается ко мне своим хрупким телом, и моя рука обвивает ее плечи... Воздух напоен благоуханьем деревьев, и над нами такая густая завеса листвы, что только изредка крупная теплая капля дождя падает на нас сверху, как поцелуй. Под ногами колышется нежная трава, — под тяжестью наших тел, обремененных любовью.

Мы подошли к маленькому озеру. Мы опускаемся на мягкую траву под купой гигантского дерева. Тозе прислоняется ко мне и ее голова нежно покоится на моем плече.

Озеро казалось гигантским изумрудом, вспыхивающим блеском от уходящих зарниц. Опьяняющие ароматы пальмовой рощи наполняли воздух, по никакое благоухание не казалось для меня таким восхитительным, как аромат янтарных волос Тозе.

— Главкос, мой любимый, — заговорила Тозе, — не надо уезжать. Я не могу жить без тебя. Разве совсем умерла твоя жалость ко мне, неужели ты хочешь безвозвратно бросить меня? Главкос, ты когда-то так ясно читал в сердце маленькой Тозе, разве не видишь, что оно твое, совсем твое? Обещай мне остаться. Поклянись, что Аполлония станет твоим настоящим отечеством, что ты примиришься с ритуалами нашего народа. Поклянись мне! Разве моя любовь не стоит этого?

Я слушал, не говоря ни слова. Разве можно не согласиться с Тозе? Я забываю все, кроме нее одной; мысль о «Минотавре» исчезла из моего сознания так же, как забыта и сцена там, на берегу, у подножия статуи Мусажета. Лаской подтверждаю я каждое слово, которое шепчет Тозе. Она умерла, немая аполлонианка, дева из Аллеи Могил. Умерла та холодная, мечтательная, мятущаяся девочка, которая плакала, слушая, как бьется ее сердце! И своих объятиях я держу не ее. Ко мне прижимается, страстно отвечая на мои объятия, не она, меня ласкает южная и пылкая любовница, ее огненные губы с лихорадочной страстью отвечают на мои пламенные поцелуи. О, вы души влюбленных героев Эллады! Ваше мощное дыхание чувствую я в своем сердце! И трепетные признания дев Аттики никогда еще не слетали с уст более очаровательных, чем те, которые так страстно простерты ко мне.

Сквозь ветви пальм видна звезда, она блистает над нами, как золотой гвоздь на темно-синем небе, и под ее сиянием, в таинственной тени дерева, мы упиваемся лобзаниями в сладостной и благовонной тропической ночи.

.....

Сквозь ветви пальм забрезжил предутренный свет, желтый, как лимон. Сладостно утомленная Тозе спит, раскинувшись на постели из трав. И даже во сне она улыбается, и нервные ее веки, сомкнувшись под моими лобзаниями, еще дрожат по временам от экстаза. И я больше не вижу заостренных ее грудей среди пурпурных цветов, смешавшихся с ее распущенными волосами...

.....

День настал.

Тозе! Хитрая, она увлекла меня прочь от пальмовой рощи к скалам, окружающим статую Аполлона.

Я знаю, куда она меня ведет: там, на другой стороне утеса, готовится ритуальное празднество. Я вижу, как тонкие полоски голубоватого дыма поднимаются к безмятежному небу. Я знаю, куда я иду, несмотря на тайное отвращение, которым проникнуто все мое существо... несмотря на все...

Я иду, потому что Тозе на меня смотрит, и те, кто не видал глаз Тозе, не могут меня понять.

Глава XVII

На прибрежном песке возлежали мужчины и женщины. Зной; спокойное, словно застывшее море; ни малейшего дуновения ветерка, тоскливая тишина, — все недвижимо. И я покорно следую за ней. Она ведет меня сюда. Ее воля стала моей волей. В ее объятиях я отрекся от всего мира.

На берегу скользкие багряные пятна, напоминающие расплывшиеся звезды; там и сям видны бронзовые треножники, над которыми поднимаются изысканные курения. Благовонные испарения, полные незнакомых мне ароматов, возносятся над этими людьми; они украсили себя цветами и напевали гимны, распростершись на земле. Солнце поднялось из-за утеса; ослепленный светом, я закрываю глаза. Когда я их снова открываю, море водорослей очерчивает на горизонте черноватый круг, тесно ограничивающий небо.

Тень от «Икара» достигает остова «Минотавра», палуба которого теперь опустилась до уровня волн.

Феерическая иллюминация расцветивает вершины расположенных амфитеатром базальтовых скал; нигде никакого дымка, никакого паруса, ничего кроме руины судна, — только гнет этой беспредельной, безнадежной, угрюмой равнины.

Почему я лежу на теплом песке? Что происходит передо мной? Почти у моих ног? Я гляжу на нее и, глядя, ощущаю бесконечно-великое влечение душ. Диадема мелких фиалок венчает ее тонкую головку, багряные гроздья ниспадают с ее висков, окаймляя ее лицо двойными каскадами пурпура. И в каждой черточке ее лица я нахожу неизъяснимую прелесть. Сквозь золотые локоны волос проглядывает миниатюрное, изящное ушко, необычная яркая краска оживила ее бледные щеки, изысканная чувственность пробудилась в ее губах, улыбающихся мне, а глаза, громадные и загадочные, неотступно смотрят на меня и в глубине

ее зрачков от моего взгляда загораются яркие искры. Она меня любит. Любит так, как никто меня не любил. Я в этом уверен.

До сих пор я смотрел на любовь, как и на все другое, как утонченный и эгоистичный дилетант. Но меня охватило совершенно новое, незнакомое мне чувство к этой тоненькой девочке, которая смотрела на меня с почти восторженным восхищением.

Спустились сумерки; там и сям зажглись факелы; отблески их длинного пламени задрожали на распростертых телах. Прислонившись к утесу, какой-то музыкант заиграл на арфе; это была странная мелодия, монотонная, медлительная. Она звучала, как жалоба в теплом воздухе; в ней не было никакой певучести; звучала одна единственная нота, но она вибрировала и повторялась до бесконечности; то она начинала звучать громче и громче, то ослабевала, переходя в едва уловимый шелест.

Луны не было, между тем было совсем светло, на головах блистали венки из белых и голубых цветов; несколько женщин танцевали, распростерши руки; над их головами колыхались пальмы. Мелодия все замедлялась, слабела, и, наконец, смолкла.

Хрисанф поднялся, он стал лицом к морю, воздымая к небу руки.

— О, Зевс, ты, который царствуешь на небе, о бог, полный славы и мощи, Гелиос, ты, всеведущий, от взглядов которого ничто не укроется, — реки, земли, моря и вы, божества, карающие в аду клятвопреступников. Будьте свидетелями и подтвердите верность наших клятв.

Мужчины и женщины поднялись, в одном порыве руки всех протянулись к статуе бога.

— О, Мусaget, — воскликнули они, — ты, что держишь серебряный лук, ты, покровитель Хризы и священной Киллы, ты, могущественный царь Тенедоса и божество Сминта, услышь молитвы твоего народа и повели, чтобы жизнь еще раз восторжествовала над смертью.

И на этом неизвестном никому берегу разыгралась сцена из Эллады — знаменитый пир из первой песни пред-

стал предо мной так, как его изобразил Гомер. И в то время, как я искал глазами эллинский флот, готовый покинуть берег Аргоса, обрывки стихов восставали в моей памяти:

Кончив молитву, ячменем и солью осыпали жертвы,
Вот их подняли вверх, закололи, затем освятили,
Бедра немедля отсеки, обрезанных туком покрыли...
Жрец на дровах сожигал их... юноши окрест его
В руках пятизубцы держали...
Кончив работу сию, Ахеяне пир учинили.

Словно одурманенный, смотрел я, как двигались тени; я хотел подняться и не мог, — громадная тяжесть нависла над моими плечами; я уже не думал о протесте. Для чего?.. Я испытывал ко всему окружающему величайшее равнодушие, — совесть ни в чем не упрекала меня; я сделал все, что мог, для спасения жизни двух несчастных; это убийство произошло вопреки моим усилиям, несмотря на то, что... И затем, разве уж так важно... Нет, я не хочу больше рассуждать... не хочу!

Они едят; вот ко мне приблизился какой-то аполло-
ниец и что-то положил предо мной. Мои загипнотизиро-
ванные глаза не могут оторваться от этого куска, и я с ужа-
сом вижу, как приближается к нему дрожащая рука, как
пальцы, багровые пальцы, вонзаются в кусок красного мя-
са...

.....

Около меня разговаривают, до меня долетают слова... слова, произнесенные по-французски, каким-то странным, издали звучащим голосом:

— Возможно ли? О! это ужасно! Как я мог? Как?

Я слушаю, и вдруг холодный пот леденит мой лоб; я понял, что незнакомый голос — это мой собственный голос. Все рушится кругом меня, точно земля разверзлась; и те-

перь я падаю в пустоту, царапая пальцами, чтобы удержаться, песчаный берег взморья.

О, эти жалкие люди, обольстившие меня своей проклятой цивилизацией, своим кровавым ритуалом! Во мне пробегает мысль уничтожить их. Зачем не убил я вчера их всех до последнего? Зачем не помешал я этому ужасному пиршеству? Мои мускулы напряглись, кулаки сжались. Я сразу вскочил на ноги.

Я вскочил и прежде всего увидел ее, с руками, закинутыми за шею, с раздвинутыми локтями. Она пожирала меня своим взглядом, широко открытыми глазами, страстным ртом. Ее восхитительные волосы с вплетенными красными цветами ниспадали на плечи, как огненная мантия; над ее головой догорал факел, окружая ее теплом своих ласк.

Недвижимый, я смотрел, обуреваемый желанием бежать от нее, чтобы больше ее не видеть, не чувствовать, что ее взгляд повис надо мной; я закрыл глаза, но и во мраке она вырисовывалась предо мной, величественная, светоносная, ужасная...

В бессилии упали мои руки, но я чувствовал, как все сильнее дрожало мое тело. Как пораженное молнией дерево, я зашатался и упал на колени; члены мои хрустнули. Обхвативши лицо руками, я, как безумный, зарыдал, лежа на земле.

Я был преисполнен величайшего отвращения к людям и ко всему миру. Какая ужасная усталость, какое оцепенение! Я чувствовал, что мои силы иссякают, что разум мой погружается во мрак... Зачем не улетел я вчера с этого острова смерти и разрушения? К этому времени «Икар» уже перелетел бы Саргассово море, в этот час меня уже навсегда отделила бы гигантская преграда от этой женщины, влечение к которой меня преследовало с непреложным деспотизмом разгневанного божества.

Я решил твердо, бесповоротно завтра на рассвете улететь. Время шло; не было ни возмущения, ни сомнений; тишина, спокойная дремота, своего рода уничтожение сознания и воли; что-то чрезвычайно приятное мелькнуло предо мной, похожее на крыло птицы; а теперь словно кто-то

губами прикоснулся к моей руке; кто-то шептал мне на ухо... я чувствую теплую ласку дыхания. Я пытаюсь под-
няться, но глаза мои закрываются, и, одурманенный, я па-
даю на песок.

.....

Один за другим гаснут факелы, и в призрачном свете
верхушки утеса базальтовые скалы и статуя Аполлона не-
подвижно застыли... При зареве пробуждающегося дня я
вижу...

Виденья прошедших мифических времен. Предо мной
пронеслось великое дыхание язычества...

Богини, обвинившие шеи героев... Сплетенные объятиями
тела...

Молчаливые объятия, немой экстаз, подобная мрамору
неподвижность, — это древняя и сладострастная Греция,
воссозданная внезапно порывом Эроса, ожившая и возрож-
денная, сверкающая светоносной белизной, пробуждающая
во мне идею совершенства, чувство неизменяемости.

.....

Громкий крик, полузаглушенный хрип, опять громкий
крик, — я узнаю ее голос. Дикая ревность овладевает мной,
я забываю все и бросаюсь на ее голос.

В тени статуи Аполлона, опрокинутая навзничь, Тозе
отчаянно отбивается. Ее глаза полузакрыты, лицо содро-
гается от спазм гнева; ее прижимает к себе аполлониец;
красные пятна выступили на мраморе ее тела; белокурые
волосы ее влачатся по песку; отблик зари окрашивает ее
пурпуром...

Мгновение, и над моей головой извивается человеческое тело, в моих объятиях трещат человеческие кости; затем оно бесформенной массой ударяется о жертвенный камень...

Я поднимаю молодую женщину и с поникшей головой несу ее по тропинке на утес. Достигнув вершины, я сажусь, чтобы перевести дыхание; начинает светать; уже солнце поднимается над коричневой линией горизонта.

Как дитя в жажде ласки и защиты, она прильнула ко мне, лаская руками мою голову.

— Тебя одного, — рыдает она, — тебя одного люблю; я хочу быть твоей, твоей навеки и больше ничьей; а тот... сейчас... Главное, не покидай меня, я боюсь!

Ее голова покоится на моем плече; мои губы жадно впивают аромат ее волос; она прижалась к моей груди, и я чувствую, как исчезает мое желание покинуть, не видать больше загадочной улыбки ее губ, ее ритмично колеблющейся походки, не слышать звуков ее голоса, унести с собой только одно воспоминание о ней, которое скоро расплывется в смутных внутренних видениях, которое сольется вскоре с грезами. Невозможно, невозможно... а между тем я не хочу и оставаться здесь...

И я все настойчивей и настойчивей начинаю думать об единственной возможности: «улететь и взять ее с собой».

И я устремил свой взор на горизонт, охватывающий Саргассово море, море липких, смертоносных щупальцев, вечно пустынное море, окружившее остров беспредельным поясом своих пространств. Я вспоминаю, как завяз в них мой «Икар», и дрожь охватывает меня; со странной отчетливостью я снова вижу, как цепляюсь за края кузова, а ноги мои висят над пустотой; и снова во рту тошнотворный вкус бензина.

Подвергнуть ее, такую нежную, т—, № "†—' •%, №, > , — сным мукам жажды! Видеть страдания на ее очаровательном лице!.. Предо мной восходит огромное багровое солнце, и в голове моей проносится мысль: «лучи его, которые сейчас брызнули мне огнем в глаза, только что осенили меловые вершины Пиринеев»...

— Ты исчезнешь, — шепчет она, — твой взгляд уже ищет дорогу, по которой ты прибыл сюда, Главкос, Главкос, не покидай маленькой Тозе, не оставляй со совсем одинокой на этом острове! Если ты исчезнешь, она останется на этом месте, неустанно вглядываясь туда, где скроешься ты. Главкос, Главкос, возьми меня с собой! Возьми меня! Хочешь, отправимся вместе, и пусть твоя страна станет моей. Жить без тебя, мой любимый, не покоиться вечером в твоих объятиях, не чувствовать больше на моих губах свежесть твоих губ. О! Только не это, только не это!

Она плачет, задыхаясь и всхлипывая; все ее существо сотрясается от рыданий и выражает такое страдание, такую тоску, что мои колебания исчезают. Нет, она не будет ожидать меня на вершине берегового утеса, ее глаза не будут устремляться к горизонту, ожидая возвращения большой птицы.

— Да, ты права, маленькая Тозе; — говорю я вполголоса, — отправимся вместе; если я улечу один, то непреодолимая сила снова приведет меня к тебе. Бежим с этого острова, уйдем от странных людей, его населяющих! Там будет счастье, жизнь, любовь!

Жалобная мелодия доносится с берега; я наклоняюсь и вижу: около статуи Мусагета собралась кучка островитян; на жертвеннике распростерто до ужаса исковерканное тело; весь камень красен и пятна достигают подножия статуи.

Я в ужасе отворачиваюсь и, подняв на руки мою подругу, быстро несу ее к Аллее Могил.

.....

«Икар» готов к отправлению, все налажено, проверено. Все в порядке.

Тозе смотрит на меня, усевшись на песчаном берегу. Что чувствует она? Какие мысли реют в ее очаровательной головке? На ее лице не заметно сожалений; нет, радостной улыбкой озарена она, и восторженно горят ее глаза.

Все готово, я отвязываю канат. Тозе сзади меня, ее голова едва поднимается выше кузова, меня охватывает лихорадочная поспешность, я тороплюсь бежать из этого отдаленного уголка земли, куда я никогда не возвращусь; через несколько часов я буду далеко на юге, на широте Антильских островов.

Мотор хрипит, пропеллер вертится, оживает громадная птица, скользит и вдруг поднимается, рея над морем.

Аппарат описывает плавную линию; в последний раз показывается Аполлония; блестит береговой утес; на берегу мелькают крошечные существа; в последний раз через ветви пальм улыбнулось мне светлое озеро, и больше не видеть ничего, кроме беспредельной зеленой равнины.

Глава XVIII

Теперь «Икар» несется к югу с быстротой метеора, и тень его больших белых крыльев чертит непогрешимо правильную прямую над Саргассовым морем,

Я машинально управляю гидропланом, а мысль моя уносится туда, к таинственной Аполлонии, от которой остается виден только постепенно блекнущий силуэт базальтовой скалы.

Мне кажется, что я пережил ужасный кошмар; каким же мне покажутся позже эти несколько недель, прожитых среди этого удивительного народа, который так странно вернулся к варварским обычаям далеких времен?

Я высчитываю, что прошло около четырех месяцев с той поры, как я покинул Азорские острова... Что я расскажу о них? Осведомить весь мир о существовании этого острова, этого народа? Дать полный отчет о своих приключениях? Я чувствую, что мне будет как-то совестно говорить обо всем этом. Да что мне заботиться об этом? Что мне до мнения людей? Важнее всего, что «Икар» со скоростью двухсот пятидесяти километров увлекает Тозе и меня в цивилизованный мир.

Я осторожно оборачиваюсь, вижу молодую женщину с головой, запрокинутой назад, прислоненной к краю кузова. Я ее зову, она не отвечает, очевидно, она потеряла сознание; этот стремительный полет в таком странном корабле, непрерывное дрожание мотора, волнение, которое испытала она, поднявшись над морем, — всего этого было слишком много для ее слабенькой, хрупкой натуры. Более того, несмотря на кожаный костюм, которым я прикрыл ее, она должна была озябнуть, так как из-под пропеллера дул ледяной ветер.

Оставить сиденье летчика, очевидно, нельзя. Об остановке, хотя бы на мгновение, нечего и думать. О! Какой бы ни было ценной, но, прежде всего, надо перелететь через этот

беспредельный зеленый пояс, и я усиливаю, насколько возможно, скорость «Икара».

Минуты бегут за минутами, и все-таки не видно ничего, ничего, кроме бесконечного, монотонного моря водорослей, а, между тем, прошло уже два часа, как я покинул Аполлонию, два часа «Икар» летит неотступно на юг.

Я уже давал скорость выше, чем до четырехсот пятидесяти километров... Какова же, однако, ширина этой странной прерии? До какого градуса широты тянется она по направлению экватора? Я начинаю беспокоиться, хватит ли бензина, чтобы достичь открытого океана. С глазами, прикованными к горизонту, я стараюсь разглядеть голубую полосу Атлантического океана, где, в случае необходимости, я могу опуститься на поверхность воды, не опасаясь, что мои поплавки завязнут в водорослях.

Иллюзия ли это? Мне кажется, что саргассы подо мной не так густы, местами в них появляются даже маленькие озера, уже масса водорослей не так компактна...

«Икар» все несется вперед; подо мной уже волны океана, движущиеся, вздымающиеся под легким дуновением ветра волны...

О! Теперь, когда исчез страх умереть в клейких саргассах, теперь, когда я уверен, что вернусь к европейской цивилизации, я начинаю думать о том, чтобы спуститься на море; впрочем, пока мы находимся еще слишком близко к морю водорослей; отделившись от этого глухого места океана, я приобрету больше шансов встретить судно, которое приняло бы меня на борт. К сожалению, недостаток бензина лишает надежды долететь до Бермудских или Антильских островов.

Еще полчаса полета — и все-таки не заметно никакого дыма, никакого паруса на пустынной поверхности океана. Я решаюсь выключить мотор; стук прекращается, пропеллер останавливается, «Икар» снижается, сначала медленно, потом быстрее; вот, наконец, плавники коснулись гребня бирюзовых валов. Несколько секунд гидроплан скользит, зачерпывая носом, выпрямляется и останавливается.

Море почти спокойно, свинцовый оттенок волн напоминает об опасности, начинает крепчать юго-западный ветер... Но я не обращаю на это внимания, меня беспокоит одно — жизнь Тозе.

Она все в том же положении, с головой, запрокинутой назад, и неподвижными глазами. Я приближаюсь к ней, — пульс едва заметен, слушаю сердце, — оно бьется, но слабо и с перебоями. Кроме фруктов и небольшого запаса воды у меня нет ничего, ничего подкрепляющего, чем я мог бы оживить, согреть ее...

Состояние мое ужасно: в нескольких тысячах километров от всякой земли, я один в узком кузове гидроплана, один с потерявшей сознание, уже близкой к смерти, женщиной.

.....

Теперь ее голова покоилась на моем плече, но уже не молодая, страстная гречанка прильнула ко мне, но жалкое маленькое создание, застывшее, замерзшее. Я окликаю ее, она не отвечает; снова и снова несчетное число раз повторяю я ее имя; с невыразимой нежностью я поддерживаю ее, и мои губы наклоняются к ее губам; наши уста сливаются, ее руки обвиваются вокруг моей шеи...

— Главкос, — шепчет она, — о, Главкос, это ты?

— Да, маленькая Тозе, это я, не бойся ничего, я с тобой.

— О, — произносит она, — сейчас мне казалось, что я умираю. Не знаю, пригрезилось ли мне, что я неслась по воздуху над морем и море, казалось, убегало; вдруг мне почудилось, что тебя не видно; я позвала тебя, но ты не отвечал; потом какое-то черное облако заволокло мою голову; мне казалось, что я упала куда-то далеко... Главкос, мне страшно! Скоро ли будем в твоей стране?

— Да, скоро.

Я окидываю взором беспредельный простор, окружающий нас, оглядываю неподвижную линию горизонта. Ничего, ничего! «Икар» один среди водной пустыни.

Она замолчала, задремала, обняв мою шею; рокот волн убаюкал ее. Долго я остаюсь неподвижен из страха разбудить ее; наконец, с величайшей осторожностью освобождаюсь из ее объятий и опускаю спящую на дно кузова. По временам дрожь резкой судорогой пробегает по ее хрупкому телу, ее пальцы шевелятся так, как будто пытаются за что-то уцепиться. Мало-помалу сон ее становится спокойнее, а я, склонившись над ней, размышляю, какова же будет жизнь этой женщины, и впервые за все время испытываю сомнение: зачем я увез ее с собой? Нежное, восхитительное создание! Она привыкла жить в райском климате... Какое горькое разочарование постигнет ее при соприкосновении с нашей цивилизацией!

Я закрываю глаза, и на мгновение мне представляется ужасная картина парижских бульваров в туманный темный ноябрьский вечер. Под матовым светом электрических ламп торопливо движется и тянется бесстрастная толпа, — грубое и печальное зрелище! Я вижу, как она боязливо жмет к краю тротуара, в европейской одежде, с зонтиком в руке, неловким движением приподнимая отсыревшую юбку...

Да, если случай позволит нам спастись, я не хочу, чтобы маленькая аполлонианка вспоминала с огорчением о своем очаровательном острове! Я уже обдумываю, что всего лучше поселиться в уединенном домике на берегу Средиземного моря...

Если удастся спастись!.. Пока еще далеко от спасения. Я пользуюсь сном Тозе, чтобы определить запас бензина: его почти уже нет, едва наберется с дюжину метров. Торопясь перелететь Саргассово море, я довел скорость «Икара» до максимума, она превысила триста километров в час и расход бензина оказался слишком высоким по сравнению с пройденным расстоянием.

Холодный пот выступил у меня на лбу и инстинктивно мои глаза обратились к горизонту, но по-прежнему там ни-

чего не было видно. Уже солнце начало склоняться к закату, и несколько белых облачков, гонимых пассатами, неслось по бледному небу; я следил за их бегом; они быстро удалялись к берегам нового мира, к Бермудскому архипелагу, которого я не достиг и никогда не достигну!

Я хладнокровно соображал свои шансы на спасение. Я должен был находиться недалеко от пути, по которому следуют пакетботы, поддерживающие сообщение между портами Западной Европы, Антильскими островами и Центральной Америкой. «Икар» терялся ничтожной точкой на просторе океана, он был совершенно незаметен в сильном блеске солнечных лучей; его трудно было различить издали, тем более, что крылья его были расположены горизонтально...

Вот и вечер наступил. Вокруг меня царило странное спокойствие экваториальной ночи; медленно восходит луна, бросая на все бледный дрожащий отблеск. Недвижимый, я жду; пелена сумрака как будто умиротворила мои чувства, я ощущаю беспредельный покой, в котором теряется всякое представление о реальном мире.

Какое-то оцепенение охватило меня, хотя я лучше, чем кто-нибудь, знал, что ожидает меня, если никакое судно не придет мне на помощь; а, между тем, я чувствовал себя до странности спокойно. И удивительное, необъяснимое явление: в моем мозгу с непонятной настойчивостью теснились незначительные эпизоды из дней моей юности... Но носящиеся над поверхностью воды предутренние туманы, возвещая наступление утра, рассеивают полудремоту мечтательного забытья.

Крик или, скорее, заглушенный стон раздается подле меня. Тозе пробудилась; в тревоге она хватается за алюминиевые стенки.

Я молча с печалью смотрю на нее. Как она бледна и слаба! Мое сердце сжимается от жалости; я не думал, что так люблю эту бледную крошку; я близко и навсегда связан с ней, а она меня любит, как сверхъестественное, непонятное существо.

Ночь прошла. Горизонт на востоке побледнел: через несколько мгновений солнце начнет свой неизменный бег; к несчетному числу протекших дней прибавится еще один, и по всей земле люди, принадлежащие к разным народам, начнут разыгрывать новую комедию жизни, и в этот час, когда тысячи проектов, предприятий, честолюбивых замыслов переполняют головы людей, готовящихся продолжать вечную борьбу, в этот час я могу только созерцать свое бессилие и изолированность от всего мира!..

Ветер монотонно качает «Икар», убаюкивая нас. Там, вдали, на востоке, в хаосе облаков вырисовываются причудливые видения: горящие города, апокалиптические горы, которые меняют свои очертания, сталкиваются... Потом все сглаживается, исчезает и снова вокруг нас только громадная, беспредельная, однообразная пустыня воды.

— Тозе, — говорю я, — маленькая Тозе, еще несколько часов, и по моей вине смерть может нас настигнуть. О, Тозе, маленькая Тозе, прости меня! Пока я не появился в Аполлонии, никакое облачко не омрачало твоей жизни. Зачем вселил я тревогу в твое сердце? Зачем я пробудил твою спящую душу?

— Главкос, — шепчет она, — Главкос, ты говоришь о смерти, а кругом меня реют светлые счастливые грезы. Да, моя душа спала, и ты ее разбудил. Мне кажется, что моя жизнь началась только с того дня, как я в первый раз увидела тебя... Но — увы! — я уже превратилась в жалкий обрывок прошлого. Неужели смерть захватила того, кто так молод, кто так любит, как я люблю тебя?..

Прижавшись ко мне, она говорит почти вполголоса, ее пальцы цепляются за мою одежду; тщетно старается бедная девочка противостоять бессознательному ужасу, который внушают ей одиночество, простор, океан... Я ласкаю ее длинные волосы, благоухающие санталом; ее губы ищут моих губ; полузадыхаясь, она шепчет:

— Мой любимый, позволь мне навсегда остаться в твоих объятиях, чувствовать себя твоей, твоей навсегда!

Часы текут монотонные и унылые; машинально я вглядываюсь по временам в горизонт... Вдруг нервный ток про-

бегают по мне: что это там за белое крошечное пятнышко? Оно движется? Не парус ли это?

Но напрасно вглядываюсь я вдаль со всем напряжением, на какое только способен; я не могу различить, корабль это или только мираж. Если корабль, то нужно добиться, чтобы он заметил меня!

В последний раз вздымается «Икар» над океаном. Белое пятнышко исчезло. Это был не корабль; утомленные глаза приняли за парус гребень морской волны. Остается только одно: воспользоваться остатками бензина, подняться насколько возможно вверх, чтобы расширить пределы видимого горизонта.

«Икар» поднимается, почти вертикально, неровным полетом, прыжками передвигаясь из одного слоя воздуха в другой.

Мотор работает с перебоями... кончено... резервуар пуст... Границы горизонта расширились, но и теперь я вижу все то же, что видел четыре месяца назад, — непрерывную линию окружности, на которой сливаются небо и вода.

Аппарат начинает все быстрее снижаться, и я думаю о легендарном «Икаре», история которого так похожа на мою. Так же, как и я, он стремился достичь невозможного; как он, я слишком приблизился к солнцу!

.....

Теперь все кончено, гидроплан снова колыхается на поверхности моря; теперь он является всего-навсего инертной массой, колеблемой волнами, игрушкой капризных стихий.

Глава XIX

Ничего, решительно ничего, ни земли, ни паруса в окружающем нас голубом просторе.

Она умирает, и ужасно подумать, что я ничем не могу ей помочь; я могу только прижать к себе это обожаемое и теперь навсегда исчезающее существо. Может быть, через несколько минут в моих руках окажется безжизненное, холодное тело...

Отчего она умирает? Этого я не знаю; но я вижу, что жизнь мало-помалу покидает ее тело; руки ее уже холодны, жизнь сверкает только в ее милых, огромных глазах.

Она умирает на пороге незнакомого ей мира; она не познает суетности нашей жизни; никакие разочарования не заставили страдать ее пробудившуюся душу... И разве смог бы я предохранить ее от тлетворных, губительных впечатлений западно-европейской культуры? Рано или поздно ее начала бы мучить тоска по Аполлонии...

Волны больше не пенились; глубочайшая тишина навела уныние. К югу по синему небу неся темный густой туман; было ясно, что надвигается страшный тропический циклон, такой частый гость этих мест.

Внезапно воцарилось необычайное затишье. Никогда не видал я ничего подобного! Казалось, небо и море хотят слиться в едином помысле не тревожить последних минут этой женщины, для которой наступили минуты великой тайны.

Началась агония, одновременно и мучительная и покойная. Ее голова лежала на моем плече; она говорила уже каким-то отчужденным голосом, точно издалека:

— Все путается, все в тумане; близится сон... Я хочу, чтобы ты обнимал меня, чтобы ты целовал меня. Да, так!.. О, как медлит смерть!..

И ее безжизненные, жалкие руки обвиваются вокруг моей шеи, капли пота, как жемчуг, блестят на ее лице, странным светом светится взор ее, и в последний раз рас-

крывается ее рот, но едва можно расслышать невнятный шепот ее губ:

— В твоих... мой любимый!.. Я улетаю! О, крепче прижми меня к себе!

Я чувствую, как она коченеет... Все кончено; она не поведется... Время течет. Огромная тяжесть сжала мой мозг, я не в состоянии сделать никакого физического усилия; я не хочу больше ни думать, ни смотреть; с застывшими глазами, недвижимо лежу с одним желанием, чтобы катастрофа поглотила всю вселенную.

Невыносимая боль возвращает меня к сознанию. Неужто я спал? Удушливый зной... Я вдыхаю не воздух, огонь. Надо мной огромное, правильной формы солнце; мрачно движется оно по багровому небу, пересеченному какими-то черными полосами...

Мои глаза полузакрыты. Там, на горизонте, скопляются облака причудливых очертаний. Сейчас я вижу там гигантскую пещеру. Перед входом в нее стоит женщина в светлом сиянии и смотрит на океан; в ее янтарных волосах лепестки больших голубых неньюфар и гирлянды желтых и красных цветов обвиваются вокруг ее бедер. Это маленькая Тозе! Машинально мои пальцы касаются ее белых плеч! Увы, я не чувствую более страстной дрожи, которая заставляла их трепетать от моих ласк. К моей щеке прикоснулось холодное тело...

Я смотрю на нее и вижу на ее лице загадочную улыбку тангарских статуй; большие открытые глаза; она как будто созерцает вдали, в беспредельности что-то таинственное... Я смотрю на нее и начинаю понимать, что я ничего не знаю, решительно ничего не знаю о ней. Я ее люблю, и все-таки ее душа осталась мне чуждой; в ней было два существа: дикая восхитительная девочка и младшая сестра дев Архипелага, подруг Навзикаи.

Увы! Где наша аполлонийская жизнь? Прогулки по большой аллее Некрополя, очаровательные ночи, танцы при свете луны? Где все это? Где все они, Хрисанф, Пануклес, Деунистон? Кровавая трагедия, все, что я пережил, мой гнев, где все это? Аромат померанцевой рощи, гул ветра

среди базальтовых глыб, таинственный остров в своем гордом уединении посреди Саргассова моря? Где эта прохлада в лесной тиши, маленькое голубое озеро, неопикуемая красота стройных зеленых пальм, колыхающихся под дуновением пассата?

Еще несколько часов — и очередь дойдет до меня; на «Икаре» не останется ничего, кроме двух окоченевших тел, носящихся по волнам Атлантического океана!

Меня ужасает неподвижность этого трупа! Еще день, может быть, два, и затем жажда, ужасная жажда...

Там, вдали, появляется судно! Оно не видит меня, оно не может меня видеть. Это пакебот; его трубы выбрасывают клубы дыма; он быстро движется на восток, в Европу, во Францию...

Теперь я один. На мгновение ее застывшее тело остается неподвижным на поверхности океана, на мгновение ее длинные волосы ундины золотой сеткой развеваются по волнам, но тяжелый ящик с инструментами, прикрепленный к ее ногам, тянет ее вниз, тянет непреодолимо.

Увы! Она больше не увенчана полевыми цветами, ее голове не украшают голубые неньюфары.

.....

Буря разразилась. Вокруг меня вздымаются волны. «Икар» вертится с головокружительной быстротой. Циклон меня увлекает...

Глава XX

Полдень, но небо сине-багровое. Буря продолжается.

Вокруг меня в дикой пляске носятся разнообразные предметы, а, между тем, мне казалось, что сам я неподвижен. Что это такое? Я больше ничего не понимаю, ничего не могу вспомнить; пропеллер исчез; окидываю взглядом горизонт, — море пустынно, ни паруса — пустота беспредельности; на горизонте появляется все расширяющееся пятнышко восхитительной голубой лазури...

Жилы на висках мучительно бьются; крутом меня в вихре кружатся какие-то вещи, которые я неясно различаю: странные ткани, оружие дикарей, копья и стрелы... Почти касаясь меня, носится отсеченная голова, чудовищная голова с ужасной улыбкой... Отвратительное лицо приближается к моему, окровавленные губы раздвигаются, открывая ужасный рот, стремящийся укусить меня своими тонкими и острыми зубами.

.....

Вдруг я испускаю хриплый вопль.

— Видите, майор, он реагирует на укол, это хороший признак!

Надо мной склонились два человека, на одном из них кепи морского офицера. Они разговаривают:

— Итак, Даниэль, вы надеетесь?

— Я не могу еще ничего обещать, майор; этот человек настолько истощен, что мне трудно, пожалуй, даже нельзя ручаться...

— Мы будем в Гавре самое позднее через четыре дня; как вы думаете, дотянет он до тех пор?

— Надеюсь. Посмотрите, у этого несчастного необычайно крепкое сложение; его сердце очень ослабело; пульс едва достигает сорока восьми; может быть, при повторных впрыскиваниях... но вам известны мои медицинские познания...

— Во всяком случае, это загадка, так как это все-таки не Витерб; это не может быть Витерб! Четыре месяца среди Атлантического океана на острове гидроплана!..

— Однако, майор, со времени трагического исчезновения Витерба в июне никакой авиатор не пытался совершить такой перелет.

— Да, я полагаю, что так, но не забывайте, Даниэль, что мы уже десять дней, как покинули Гваделун, уже десять дней, как «В-14» крейсирует, разыскивая этот проклятый «Минотавр!» Возможно, что после нашего отъезда...

— Нет и нет! Печальная развязка попытки Витерба значительно охладила энтузиазм к перелету из Европы в Америку! Кроме того, если даже предположить, что какой-нибудь авиатор попытался совершить перелет без предварительной подготовки, его крушение было бы к этому времени известно. И — черт побери! — известно, ведь, что мы находимся в этих водах; нас непременно известили бы по телеграфу!

— Я ничего не предполагаю, я констатирую факт, вот и все.

— Вы отметили в точности положение места?

— Да, майор; гидроплан найден около 26° 53' северной широты и 57° 36' западной долготы.

— Кажется, это вы его первый заметили?

— Нет, майор, это Менье, знаете, тот Менье, боцман. Я только что отбыл вахту. Циклон свирепствовал всю ночь; море еще очень волновалось, хотя ветер почти совсем прекратился. Я собирался идти в каюту, когда Менье, который стоял рядом, сказал, показывая мне что-то вдали: «Посмотрите, лейтенант, что там белеет?».

— В котором часу это было?

— Около семи часов утра; только что рассвело, день был тусклый, серый; завеса черных туч застилала горизонт, с

океана поднимался туман, но все-таки я очень ясно разглядел предмет странной формы, плавающий на волнах ...

— На каком расстоянии от него вы находились?

— От тысячи восьмисот до двух тысяч метров, может быть, несколько ближе. Только когда «В-14» подошел совсем близко, я с изумлением убедился, что это гидроплан; тотчас в моей голове мелькнула мысль об «Икаре», я приказал застопорить, послал матроса уведомить вас и распорядился немедленно спустить шлюпку, в которую взял Менье и еще двух матросов. Через несколько минут мы подплыли к аппарату. Каким образом он очутился среди океана в четырехстах лье от ближайшей земли? Не «Икар» ли это? Если «Икар», то как он очутился на высоте тропиков, на восемь градусов южнее предполагаемой линии его маршрута? В особенности непонятно, как он мог четыре месяца носиться по волнам океана; в этих местах циклоны очень часты, они должны были разбить его. Так я рассуждал в то время, как шлюпка обходила со всех сторон гидроплан. Вследствие сильного волнения подойти к нему было трудно и даже опасно. Хвост у аппарата уже исчез, одно из крыльев было почти оторвано и свешивалось, наполовину погруженное в воду, другое под острым углом к поверхности воды торчало вверх. После долгих неудачных попыток я кое-как уцепился за стойки и перелез через кузов. Представьте себе мое удивление: на месте летчика сидел человек, обхватив руками руль; голова его держалась прямо, глаза были полузакрыты, как будто он был погружен в глубокое раздумье. Я взял его за руку, она была влажная; едва заметное биение пульса показывало, что он еще жив. Немедленно я кликнул Менье помочь мне, и вдвоем мы без труда сняли его с сиденья и спустили в шлюпку; через несколько минут мы его доставили на палубу «В-14».

— И аппарат, говорите вы, походил на «Икара»?

— «Икар» построен по собственному проекту Витерба. Он, между прочим, придумал совершенно особую систему поплавков; она очень отличается от систем, принятых для гидропланов как во Франции, так и за границей.

— Вы знали Витерба?

— Нет, майор, но портрет его часто встречался мне в газетах, сначала во время войны, впоследствии перед его полетом.

— Он носил бороду?

— Ни бороды, ни усов. Думаю, что ему по меньшей мере сорок лет, но говорят, что на вид ему едва можно было дать двадцать пять лет.

— Знайте, Даниэль, мы оба говорим вздор; я очень жалею, что по радио высказали предположение о том, что найдены Витерб и «Икар». Над нами, мой милый, будут смеяться, и не без оснований.

— Но как объяснить это?

— Я не берусь ничего объяснять, но все-таки подумайте: Витерб покинул Азорские острова 17 июня; если не ошибаюсь, сегодня 14 октября; это значит — существовать без еды и питья сто двадцать дней!

— Очевидно...

— При нем не было никаких документов?

— Не знаю; одежда его осталась в офицерской каюте; если угодно, я осмотрю ее.

— Да, пожалуйста; а на самом гидроплане не осталось ничего интересного?

— Как будто нет, майор.

— Видите ли... Может быть, найдем что-нибудь, что могло бы установить личность несчастного?

— Слушаю, майор.

.....

Они ушли, я слышал, как удалились их голоса; никакой шум не достигал до меня, кроме мучительного шума, раздававшегося в моей собственной голове.

Теперь я понял, что смерть еще пощадила меня; я попал на миноносец, который шел на мою родину, во Францию! Из их разговора видно, что я буду там через четыре дня.

Франция, цивилизованный мир; все, что меня когда-то интересовало, мои занятия, мои работы, все, что я считал прекрасным, какое впечатление на меня все это теперь произведет? Я чувствую, что не смогу снова войти во вкус этой жизни!

Если бы забыть, если бы вырвать из памяти эту странную историю: четыре месяца грез о Прекрасном, четыре месяца удивительной жизни, когда я вошел в соприкосновение с идеалом человечества и получил от жизни все, что должна была она дать мне возвышенного и совершенного. Что может дать мне теперь жизнь? Я оглянулся вокруг; узенькая офицерская каюта. Какой жалкой она мне показалась! Ее владелец счел долгом украсить ее «сувенирами» с Дальнего Востока: этими безобразными, отвратительными, искривленными в гримасу, китайскими рожами, японскими ящичками, оружием маори, всей этой банальной экзотикой вперемежку с предметами домашнего обихода европейца...

А там, далеко, далеко, у маленького голубого озера изящно мелькают между морщинистыми стволами высоких финиковых пальм женские фигуры: это час обычного ежедневного сбора плодов; веселые и грациозные, они движутся, колебля ветви пальм и напевая священные гимны. Ветер аккомпанирует шелестом листьев их гармоничным голосам, и цветы, которыми они украсили себя, выделяются на их белых телах резкими, почти грубыми красками. Солнце, просвечивая через густую завесу листвы, играет там и сям по траве золотистыми бликами.... и вот вдруг предо мной вырисовывается головка, очаровательная головка! Да, я ее знаю... Да, впрочем, они все тут. Хрисанф, Иллонэ, Каллиста... все? Увы! Нет. Одной недостает; больше уже никогда, никогда не будет она помогать подругам в ежедневном сборе плодов; и в аллее Некрополя не будет мелькать тело женщины, прислушивающейся к голосам мертвых.

.....

— Ну, майор, что вы скажете теперь?

Кто-то снова вошел в каюту: это те самые, что только что были здесь.

— Да это рекомендательное письмо к губернатору Бермудского архипелага, а особенно этот конверт с адресом: г-ну Франсуа Витерб, 126 улица Томи, Париж, если только...

— Если только этот человек действительно Витерб ...

— Однако?

— Может статься все-таки, что это не он; предположим, ну просто предположим, скажу я, что какому-нибудь пассажиру или матросу с «Минотавра» после крушения судна удалось вскарабкаться на блуждающий по океану гидроплан...

— Это возможно! Ах, если бы этот несчастный мог отвечать или хотя бы понимать, что мы говорим.

— Ниоткуда и не видно, что он не понимает.

— Это верно.

Один из них наклонился ко мне и спросил меня медленно и отчетливо:

— Кто вы? Как вас зовут? Вы француз?

Я хотел ответить, мысленно я произносил слова, но губы мои не повиновались моей воле.

— Вы не Витерб ли, французский авиатор Франсуа Витерб?

— Да!

Этот возглас вырвался хрипло, странно, но отчетливо из глубины моего существа.

Настала ночь, но в темноте я продолжал видеть призраки таинственного, и они меня все более и более беспокоили по мере того, как я погружался в бессознательность. Что это? Я грежу? Это происходит в безымянной стране, в мрак которой я погружаюсь. Видны на берегу силуэты людей... Эти силуэты я, кажется, видел уже и прежде...

— Где я?

Становится жарко, тяжело и душно. Я слышу разговор, слышу резкий свисток; это возврат к жизни с истомленной, невероятно усталой душой.

.....

И теперь наступил час, таинственный час, когда меркнет и исчезает все земное. Ах! Если бы смерть пришла скорее...

Из всего, что я оставляю на земле, лишь одна аллея, окаймленная погребальными памятниками, неотступно стоит перед моими глазами, та аллея, где некогда легкой поступью медленно шла странная женщина с волосами, украшенными неведомыми цветами...

Глава XXI

Витерб замолк и, склонившись на подушки своей истомленной головой, лежал без движения с полужакрытыми глазами.

Мы слушали его фантастический рассказ, не прерывая его; мы были настолько захвачены им, что утратили всякое представление о времени.

Через открытые окна проникал молочно-белый свет раннего утра, бросая голубоватые отсветы на предметы; над водой поднимался сырой туман; облачный горизонт казался унылым.

Мы с Брессолем переглянулись; я прочитал в глазах моего друга то, что он, вероятно, прочел в моих: несказанное удивление и в то же время величайшее недоумение.

Тем не менее мы не обменялись ни словом по поводу наших впечатлений; одновременно мы оба склонились к Витербу.

Он лежал так неподвижно, что мы встревожились. Он был чрезвычайно бледен; под обесцвеченной кожей отчетливо выступали скулы, его короткое дыхание перешло почти в прерывистый свист; на его высоком лбу мыслителя блестело несколько капелек пота. Я взял его руку. Она была холодна; пульс был так слаб, что я едва мог его нащупать.

Это состояние депрессии ужаснуло меня; вполголоса я сказал Брессолю:

— Поищи врача или санитаря; может быть, ему следует впрыснуть камфару.

Я говорил очень тихо, но Франсуа все-таки услышал мои слова и прошептал с усилием, удерживая руку Брессоля:

— Нет, мои друзья, не надо; оставайтесь со мной; врач придет слишком поздно: я умираю.

Мы наклонились к нему; он протянул руку каждому из нас; мы ощущали последние конвульсивные движения его

пальцев; голова его запрокинулась; короткий хрип... и все было кончено...

Страдальческое выражение внезапно исчезло с его лица и сменилось покойной улыбкой; Франсуа Витерб умер в сладостном упоении своими грезами, этими странными гомеровскими грезами, которые он только что рисовал перед нами; в этот момент мы могли их причислить только к фантастическим рассказам, настолько они казались нам несовместимыми с реальностью,

Рассвело. Комнату заливал белый приятный свет, ясно обрисовывая контуры предметов. Брессоль погасил электрическую лампу, и в апофеозе рождающегося дня Франсуа Витерб предстал перед нами в своей поразительной красоте, уподобляясь мраморным изваяниям. Этот профиль юного Антиноя, отчеканенный страданиями, напоминал величественную красоту античных медалей. Его тонкие, изогнутые, сжатые губы одновременно выражали волю и презрение, и казалось, что с них готово слететь имя женщины, которой отдал он всю привязанность и любовь, внушенную ему тенью героев Эллады.

Благоговейно закрыли мы глаза, в которых еще отражалась морская лазурь, и в глубине его уже мутневших зрачков, казалось, еще можно было найти образ аллеи, окаймленной могильными памятниками, к которой так влекли его последние мысли.

ЭПИЛОГ

Мы восстановили по памяти рассказ, пользуясь заметками, которые всю ночь набрасывал Брессоль в своей книжке во время повествования Витерба о своих странных приключениях.

И, разумеется, много раз во время нашей работы приходили нам на память слова нашего друга: «Вы будете нуждаться в этих записях, чтобы не пытаться после моей смерти убедить себя, что вам только пригрезилось то, что я вам рассказал».

Теперь, согласно воле покойного, мы доводим до всеобщего сведения эту фантастическую историю. Предварительно мы расспросили многих выдающихся членов географического общества о Саргассовом море.

Их ответ можно резюмировать следующим образом: эта часть Атлантического океана еще мало исследована, хотя она во многих местах доступна для кораблей; вместе с тем допустимы предположения, что в некоторых своих областях море водорослей совершенно непроходимо. Один из наших выдающихся океанографов уверял нас даже, что имеются превышающие всю поверхность Франции пространства, которые не пересекал ни один мореплаватель; ничто не противоречит, таким образом, возможности существования неизвестного острова с небольшим рельефом в центре одной из таких областей.

С другой стороны, мы ознакомились с библиографией, относящейся к этому вопросу, и отсылаем читателей, заинтересованных им, к трудам Сцилак де Карнанда, географа, жившего за 500 лет до Р. Х., книге Мори «Физическая география земного шара», к трудам Стилера, Элизе Реклю и других.

С другой стороны, достоверность рассказа Витерба подтверждается удивительным совпадением с другими данными.

Оставим даже в стороне то место у Аристотеля, где он говорит о приключениях кораблей, которые прошли меж столпов Геракла (Гибралтарский пролив), бросили якорь в Гадесе (теперь Кадикс) и затем ушли в неизвестные области Атлантического океана, где они были остановлены скоплением морских трав.

Более удивительно то сообщение, которое сделал Витербо судне, именовавшемся «Мария Небесная»; по справкам, полученным нами в адмиралтействе, видно, что до известной степени не исключена возможность высадки в Аполлонии пассажиров с судна «Мария Небесная». Это судно было действительно найдено среди океана, хотя оно и не подверглось никакой аварии.

Наконец, остается необъяснимым исчезновение «Миновтавра». Сообщение Витерба, по-видимому, указывает, что он встретил эту аргентинскую яхту после того, как она покинула Буэнос-Айрес и направилась в Европу; никаких обломков этого судна нигде найдено не было; его название приходится присоединить к числу тех таинственно исчезнувших судов, длинный список которых каждый год составляют адмиралтейства.

Как бы то ни было, если отрицать достоверность рассказа Витерба, то тогда остается совершенно непонятным, как он мог жить четыре месяца посреди океана на своем гидроплане, не имея никаких съестных припасов кроме того немногого, что он захватил с собой с Азорских островов.

Роман Антуана Шоллье (Antoine Chollier) и Анри Лесбро (Henri Lesbros) «La Mer des Sargasses» («Саргассово море») вышел в свет в Париже в 1922 г.; русский перевод под названием «Через Атлантику на гидроплане» был напечатан в 1928 г. московским издательством «Пучина». Роман публикуется по этому изданию с восстановлением оригинального заглавия и исправлением некоторых очевидных опечаток и устаревших особенностей орфографии.

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.